

ОБЩЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ХРЕСТОМАТИЯ

Для
12-летних
школ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕКТЕП

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ХРЕСТОМАТИЯ

Пробное учебное пособие для 11 классов
общественно-гуманитарного направления
12-летних школ



Алматы “Мектеп” 2013

Составители:
К. Д. Бейбытова, Т. П. Мацакова

Русская литература: Хрестоматия. Проб. учеб. пособие для 11 кл. общест.-гуманит. направления 12-лет. шк. / .: К. Д. Бейбытова, Т. П. Мацакова. — Алматы: Мектеп, 2013. — 272 с.

Р $\frac{4306010400-278}{404(05)-13}$ 85(3)—13

- © Бейбытова К. Д.,
Мацакова Т. П. (сост.), 2013
 - © Издательство “Мектеп”, художественное оформление, 2013
- Все права защищены
Имущественные права на издание принадлежат издательству “Мектеп”

ВОЛЬНОСТЬ

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана

Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
Я твой: я променял порочный двор цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

* * *

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;

С волнением и тоской туда стремлюся я,
Воспомианьем упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы молодые,
Подруги тайные моей весны златые,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

ДЕМОН

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,

И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

* * *

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно среди зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставляя миру свой венец.
Шумы, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ

П. А. Осиповой

I

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,

Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:

Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?

Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

II

О, жены чистые пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица!

А вы, о гости Магомета,
Стекаясь к вечери его,
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего.
В паренье дум благочестивых,
Не любит он велеречивых
И слов нескромных и пустых:
Почтите пир его смиреньем,
И целомудренным склоненьем
Его невольниц молодых.

III

Смутясь, нахмурился пророк,
Слепца послушав приближенье:
Бежит, да не дерзнет порок
Ему являть недоуменье.

С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?

За то ль, что бог и умертвит
И воскресит его — по воле?
Что с неба дни его хранит
И в радостях и в горькой доле?

За то ль, что дал ему плоды,
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды,
И вертоград, и холм, и ниву?

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.

И все пред бога притекут,
Обезображенные страхом;
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

IV

С тобою древле, о всеильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но ты, господь, его смирил.

Ты рек: я миру жизнь дарую,
Я смертью землю наказую,
На все подъята длань моя.
Я также, рек он, жизнь дарую,
И также смертью наказую:
С тобою, боже, равен я.
Но смолкла похвальба порока
От слова гнева твоего:
Подъемлю солнце я с востока;
С заката подыми его!

V

Земля недвижна — неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.

Зажег ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.

Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.

Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

VI

Не даром вы приснились мне
В бою с обритыми главами,
С окровавленными мечами,
Во рвах, на башне, на стене.

Внемлите радостному кличу,
О дети пламенных пустынь!

Ведите в плен молодых рабынь,
Делите бранную добычу!

Вы победили: слава вам,
А малодушным посмеянье!
Они на бранное призыванье
Не шли, не веря дивным снам.

Прельстясь добычей боевою,
Теперь в раскаянье своем
Рекут: возьмите нас с собою;
Но вы скажите: не возьмем.

Блаженны падшие в сраженье:
Теперь они вошли в эдем
И потонули в наслажденьи,
Не отравляемом ничем.

VII

Восстань, боязливый:
В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читай!

VIII

Торгуя совестью пред бледной ницетою,
Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам.
В день грозного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный!
Сторицею воздаст она твоим трудам.

Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань, —
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут — господом отверженная дань.

IX

И путник усталый на бога роптал:
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем и пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг,
И кладез под пальмою видит он вдруг.

И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжело язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы —
И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли.

Настал пробужденья для путника час;
Встает он и слышит неведомый глас:
“Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?”
И он отвечает: уж солнце высоко
На утреннем небе сияло вчера;
С утра я глубоко проспал до утра.

Но голос: “О путник, ты долее спал;
Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал;
Уж пальма истлела, а кладез холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей”.

И горем объятый мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось:

Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладез наполнен прохладой и мглой.

И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с богом он дале пускается в путь.

* * *

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи, —
Храни меня, мой талисман.

В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.

БЕСЫ

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна

Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик: дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!
“Эй, пошел, ямщик!..” — “Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой”.

ОСЕНЬ

(Отрывок)

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?

Державин

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъездные поля с охотою своею,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под сободем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы-старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

V

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.

Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривой, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом

Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.

Х

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

ХІ

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

ЗИМНЕЕ УТРО

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

Михаил Юрьевич Лермонтов

СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували

Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар...спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

БОРОДИНО

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,

Ворчали старики: “Что ж мы?
На зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?”

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
“Пора добратся до картечи!”
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
“Ребята! Не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!”
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек!
Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И все на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими —хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось.
Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрепали барабаны —

И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

МОЛИТВА

Я, мать божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную;
Дай ей спутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

ДУМА

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,

Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
 Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властью — презренные рабы.

Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
 Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
 Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
 Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
 Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши века ни мысли плодovitой,
 Ни гением начатого труда.

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
 Над промотавшимся отцом.

ПОЭТ

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.
Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Терекком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножен, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блески и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

ТРИ ПАЛЬМЫ

(Восточное сказание)

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
“На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колелемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!”

И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки.
Пестрели коврами покрытые выюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюды за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой:
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копьё на скаку.

Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налились водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;

Скажи им, что навывлет в грудь
Я пулей ранен был,
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.
Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалея;
Пускай она поплачет..
Ей ничего не значит!

РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.

Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

УТЕС

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя.

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть,
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная:
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,

То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

“Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!”

Николай Васильевич Гоголь

МЕРТВЫЕ ДУШИ

Глава I

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. “Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?” — “Доедет”, — отвечал другой. “А в Казань-то, я думаю, не доедет?” — “В Казань не доедет”, — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покуше-

ньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном

сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сем испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками, — словом, все то же, что и везде; только и различия, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусства, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым при-

готовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор — о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: “О, большой, сударь, мошенник”. Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не все пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спра-

шивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкупал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой номер, где, прилегши, заснул на два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: “Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям”. Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно была в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: “Иностранец Василий Федоров”; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: “И вот заведение”. Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконической надписью: “Питейный дом”. Мостовая везде была плоховата. Он за-

глянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что “город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день”, и что при этом “было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику”. Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посередине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочесть ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплевин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом перевернул на другую сторону: узнать, нет ли там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.

Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками... жаль, что несколько трудно упомянуть всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза: “ваше превосходительство”, что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он не значащий червь мира сего и не достоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за неприменный долг

засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезде оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляска с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали — словом, все как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадры мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки,

потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые все увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер “черт меня побери”, как говорят французы, — волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! Толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а все прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не

так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским баринном, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти все знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: “Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу”, — человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: “Прошу прощения”. Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: “Пошла, старая попадья!”, если же король: “Пошел, тамбовский

мужик!”. А председатель приговаривал: “А я его по усам! А я ее по усам!”. Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: “А! была не была, не с чего, так с бубен!”. Или же просто восклицания: “черви! червоточина! пикенция!” или: “пикендрас! пичурущих пичура!” и даже просто: “пичук!” — названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: “вы пошли”, но: “вы изволили пойти”, “я имел честь покрыть вашу двойку” и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклонением головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: “И ко мне прошу”, — шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырёх слов начал говорить “ты”. С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на “ты” и обращался по-дружески; но, когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный

человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер — что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: “Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!”. На что супруга отвечала: “Гм!” — и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение жителей почти всего города.

Александр Николаевич Островский

ГРОЗА

Драма в пяти действиях

(отрывки)

Савел Прокофьевич Дикой, купец, значительное лицо в городе.

Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный.

Марфа Игнатьевна Кабанова (*Кабаниха*), богатая купчиха, вдова.

Тихон Иванович Кабанов, ее сын.

Катерина, жена его.

Варвара, сестра Тихона.

Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле.

Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикого.

Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. (*Примеч. А. Н. Островского.*)

Шапкин, мещанин.

Феклуша, странница.

Глаша, девка в доме Кабановой.

Барыня с двумя лакеями, старуха 70 лет, полусумасшедшая, городские жители обоего пола.

Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом. Между 3-м и 4-м действиями проходит 10 дней.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов.

Явление первое

Кулигин сидит на скамье и смотрит на реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются.

Кулигин (*поет*). “Среди долины ровныя, на гладкой высоте...”. (*Перестает петь.*) Чудеса, истинно, надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.

Кудряш. А что?

Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.

Кудряш. Нешто!

Кулигин. Восторг. А ты: “нешто”! Пригляделись вы либо не понимаете, какая красота в природе разлита.

Кудряш. Ну, да ведь уж с тобой что толковать! Ты у нас антик, химик!

Кулигин. Механик, самоучка-механик.

Кудряш. Все одно.

Молчание.

Кулигин (*показывая в сторону*). Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает?

Кудряш. Это? Это Дикой племянника ругает.

Кулигин. Нашел место!

Кудряш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит.

Ш а п к и н. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьяч поискать еще! Ни за что человека оборвет.

К у д р я ш. Пронзительный мужик!

Ш а п к и н. Хороша тоже и Кабаниха.

К у д р я ш. Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!

Ш а п к и н. Унять-то его некому, вот он и воюет!

К у д р я ш. Мало у нас парней-то на мою статью, а то бы мы его озорничать-то отучили.

Ш а п к и н. А что бы вы сделали?

К у д р я ш. Постращали бы хорошенько.

Ш а п к и н. Как это?

К у д р я ш. Вчетвером этак, впятером в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался.

Ш а п к и н. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.

К у д р я ш. Хотел, да не отдал, так это все одно, что ничего. Не отдаст он меня, он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею.

Ш а п к и н. Ой ли?

К у д р я ш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь, за что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пуцай же он меня боится.

Ш а п к и н. Уж будто он тебя и не ругает?

К у д р я ш. Как не ругать! Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я: он — слово, а я — десять; плюнет да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.

К у л и г и н. С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть.

К у д р я ш. Ну, вот, коль ты умен, так ты его прежде учливости-то выучи, да потом и нас учи! Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет.

Ш а п к и н. А то что ж бы?

К у д р я ш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!

Явление третье

Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин.

Б о р и с. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь, без привычки-то! Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.

К у л и г и н. И не привыкнете никогда, сударь.

Б о р и с. Отчего же?

К у л и г и н. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой норы! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: “Послушай, говорит, Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой ходят!”. Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу да и говорит: “Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы то поймите: недоплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!”. Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им, за малую благодать, на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся-судятся здесь да в губернию поедут, а там уж их и ждут да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат их,

волочат; а они еще и рады этому волочению, того только им и надобно. “Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку”. Я было хотел все это стихами изобразить... А вы умеете стихами?

Кулигин. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрец был Ломоносов, испытатель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания.

Борис. Вы бы и написали. Это было бы интересно.

Кулигин. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достаётся; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать, да когда-нибудь в другое время. А тоже есть что послушать.

Входят Феклуша и другая женщина.

Феклуша. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых.

Уходят.

Борис. Кабановых?

Кулигин. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем.

Молчание.

Кулигин. Только б мне, сударь, перепету-мобиль¹ найти!

Борис. Что ж бы вы сделали?

Кулигин. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и употребил, для под-

¹ Перпетуум-мобиле — вечный двигатель.

держки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего.

Б о р и с. А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?

К у л и г и н. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! (*Уходит.*)

Явление пятое

Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

К а б а н о в а. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала.

К а б а н о в. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!

К а б а н о в а. Не очень-то нынче старших уважают.

В а р в а р а (*про себя*). Не уважишь тебя, как же!

К а б а н о в. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.

К а б а н о в а. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, какво теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.

К а б а н о в. Я, маменька...

К а б а н о в а. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А! как ты маешь?

К а б а н о в. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?

К а б а н о в а. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.

К а б а н о в (*вздыхая, в сторону*). Ах ты, господи! (*Матери.*) Да смеем ли мы, маменька, подумать!

К а б а н о в а. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А, сохрани господи, каким-ни-

будь словом снохе не угодить, ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем.

К а б а н о в. Нешто, маменька, кто говорит про вас?

К а б а н о в а. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слыхала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. *(Вздыхает.)* Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешись, рассердишься. Нет, мой друг, говори что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так за глаза станут.

К а б а н о в. Да отсохни язык...

К а б а н о в а. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу.

К а б а н о в. В чем же вы, маменька, это видите?

К а б а н о в а. Да во всем, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.

К а б а н о в. Да нет, маменька! что вы, помилуйте!

К а т е р и н а. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит.

К а б а н о в а. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь.

В а р в а р а *(про себя)*. Нашла место наставления читать.

К а т е р и н а. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я все одна, ничего я из себя не доказываю.

К а б а н о в а. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришло.

К а т е р и н а. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?

К а б а н о в а. Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас.

К а т е р и н а. Напраслину-то терпеть кому ж приятно!

К а б а н о в а. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова, да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня об вас

сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте что хотите, не будет над вами старших. А может, и меня вспомняете.

К а б а н о в. Да мы об вас, маменька, денно и ночью Бога молим, чтобы вам, маменька, Бог дал здоровья и всякого благополучия, и в делах успеху.

К а б а н о в а. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. До меня ли тебе: у тебя жена молодая.

К а б а н о в. Одно другому не мешает-с: жена само по себе, а к родительнице я само по себе почтение имею.

К а б а н о в а. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю.

К а б а н о в. Да для чего же мне менять-с? Я обеих люблю.

К а б а н о в а. Ну да, да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха.

К а б а н о в. Думайте как хотите, на все есть ваша воля; только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем.

К а б а н о в а. Что ты сиротой-то прикидываешься! Что ты нюни-то распустил? Ну какой ты муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?

К а б а н о в. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит.

К а б а н о в а. Как зачем бояться! Как зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Или, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал, да при сестре, при девке; ей тоже замуж идти: этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить.

К а б а н о в. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!

К а б а н о в а. Так, по-твоему, нужно все лаской с женой? Уж и не прикрикнуть на нее, и не пригрозить?

К а б а н о в. Да я, маменька...

К а б а н о в а (*горячо*). Хоть любовника заводи! А? И это, может быть, по-твоему, ничего? А? Ну, говори!

К а б а н о в. Да, ей-богу, маменька...

К а б а н о в а (*совершенно хладнокровно*). Дурак! (*Вздыхает.*) Что с дураком и говорить! Только грех один!

Молчание.

К а б а н о в а. Я домой иду.

К а б а н о в. И мы сейчас, только раз-другой по бульвару пройдем.

К а б а н о в а. Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться! Знаешь, я не люблю этого.

К а б а н о в. Нет, маменька, сохрани меня Господи!

К а б а н о в а. То-то же! (*Уходит.*)

Явление седьмое

Катерина и Варвара.

К а т е р и н а. Так ты, Варя, жалеешь меня?

В а р в а р а (*глядя в сторону*). Разумеется, жалко.

К а т е р и н а. Так ты, стало быть, любишь меня? (*Крепко целует.*)

В а р в а р а. За что же тебя не любить-то!

К а т е р и н а. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.

Молчание.

К а т е р и н а. Знаешь, мне что в голову пришло?

В а р в а р а. Что?

К а т е р и н а. Отчего люди не летают!

В а р в а р а. Я не понимаю, что ты говоришь.

К а т е р и н а. Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (*Хочет бежать.*)

В а р в а р а. Что ты выдумываешь-то?

К а т е р и н а (*Вздыхая*). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.

В а р в а р а. Ты думаешь, я не вижу?

К а т е р и н а. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы — у нас полон дом был странниц да богомолков. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать, где они были, что видели, жития разные либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!

В а р в а р а. Да ведь и у нас то же самое.

К а т е р и н а. Да здесь все как будто из-под неволи. И досмерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану — у нас тоже везде лампадки горели — да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то. <...>

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната в доме Кабановых.

Явление третье

Те же, Кабанова и Кабанов.

Кабанова. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотри ж, помни! На носу себе заруби!

Кабанов. Помню, маменька.

Кабанова. Ну, теперь все готово. Лошади приехали, проститься тебе только, да и с Богом.

Кабанов. Да-с, маменька, пора.

Кабанова. Ну!

Кабанов. Чего изволите-с?

Кабанова. Что ж ты стоишь, разве порядку не знаешь? Приказывай жене-то, как жить без тебя.

Катерина потупила глаза в землю.

Кабанов. Да она, чай, сама знает.

Кабанова. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай! Чтоб и я слышала, что ты ей приказываешь! А потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила.

Кабанов (*становясь против Катерины*). Слушайся маменьки, Катя!

Кабанова. Скажи, чтоб не грубила свекрови.

Кабанов. Не груби!

Кабанова. Чтоб почитала свекровь, как родную мать!

Кабанов. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать!

Кабанова. Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня!

Кабанов. Работай что-нибудь без меня!

Кабанова. Чтоб в окна глаз не пялила!

Кабанов. Да, маменька, когда ж она...

Кабанова. Ну, ну!

Кабанов. В окна не гляди!

Кабанова. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя.

Кабанов. Да что ж это, маменька, ей-богу!

К а б а н о в а (*строго*). Ломаться-то нечего. Должен исполнять, что мать говорит. (*С улыбкой.*) Оно все лучше, как приказано-то.

К а б а н о в (*сконфузившись*). Не заглядывайся на парней!

Катерина строго взглядывает на него.

К а б а н о в а. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара!

Уходят.

Явление шестое

К а б а н о в а (*одна*). Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы досыта. Ничего-то не знают, никакого порядку. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят, а выдут на волю-то, так и путаются на позор да на смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя; гостей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех, да и только! Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь да вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего.

Явление десятое

К а т е р и н а (*одна, держа ключ в руках*). Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая, право, сумасшедшая! Вот погибель-то! Вот она! Бросить его, бросить далеко, В реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он мне руки-то жжет, точно уголь. (*Подумав.*) Вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то придет. Вышел случай, другая и рада, так очертя голову и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горячее покажется. (*Молчание.*) А горька

неволя, ох как горька! Кто от нее не плачет! д пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! Живу, маюся, просвету себе не вижу! Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. (*Задумывается.*) Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны. (*Задумчиво смотрит на ключ.*) Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он это ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою. (*Прислушивается.*) Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. (*Прячет ключ в карман.*) Нет!.. Никого! Что я так испугалась! И ключ спрятала... Ну, уж, знать, там ему и быть! Видно, сама судьба того хочет! Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел. Да, может, такого и случая-то еще во всю жизнь не выйдет. Тогда и плачусь на себя: был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ! Нет, ни за что на свете! Он мой теперь... Будь что будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки; кой-где трава и кусты; за арками берег и вид на Волгу...

Явление второе

Те же, Дикой и Кулигин.

Д и к о й . Ишь ты, замочило всего. (*Кулигину.*) Отстань ты от меня! Отстань! (*С сердцем.*) Глухой человек!

К у л и г и н . Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.

Д и к о й . Поди ты прочь! Кака польза! Кому нужна эта польза?

К у л и г и н . Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой:

столбик каменный (показывает жестами размер каждой вещи), дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую (показывает жестом), простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу уж все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение — для глаз оно приятней.

Д и к о й. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.

К у л и г и н. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.

Д и к о й. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает.

К у л и г и н. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство! Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет.

Д и к о й. Ну, и пущай знают, а я тебя знать не хочу.

К у л и г и н. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человек обижать изволите?

Д и к о й. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.

К у л и г и н. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: “и в рубище почтенна добродетель!”

Д и к о й. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты!

Кулигин. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю, а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много; была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов.

Дикой (*гордо*). Все суета!

Кулигин. Да какая же суета, когда опыты были.

Дикой. Какие там у тебя громовые отводы?

Кулигин. Стальные.

Дикой (*с гневом*). Ну, еще что?

Кулигин. Шесты стальные.

Дикой (*сердясь более и более*). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну, а еще что?

Кулигин. Ничего больше.

Дикой. Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори!

Кулигин. Электричество.

Дикой (*топнув ногой*). Какое еще там електричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? Говори! Татарин?

Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал: "Я телом в прахе истлеваю. Умом громам повелеваю".

Дикой. А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эх, почтенные! Прислушайте-ка, что он говорит!

Кулигин. Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. (*Махнув рукой, уходит.*)

Дикой. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакой фальшивый мужичонка! С этим народом какому надо быть человеку? Я уж и не знаю. (*Обращаясь к народу.*) Да вы, проклятые, хоть кого в грех введете! Вот не хотел нынче сердиться, а он, как нарочно, рассердил-таки. Чтоб ему провалиться! (*Сердито.*) Перестал, что ль, дождик-то?

1-й. Кажется, перестал.

Дикой. Кажется! А ты, дурак, сходи да посмотри.
А то кажется!

1-й (*выйдя из-под сводов*). Перестал!

Дикой уходит, и все за ним. Сцена несколько времени пуста. Под своды быстро входит Варвара и, притаившись, высматривает.

Явление четвертое

Кабанов, разные лица и потом Кабанова, Катерина и Кулигин.

1-й. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться.

Женщина. Да уж как ни прячься! Коли кому на роду написано, так никуда не уйдешь.

Катерина (*вбегая*). Ах! Варвара! (*Хватает ее за руку и держит крепко.*)

Варвара. Полно, что ты!

Катерина. Смерть моя!

Варвара. Да ты одумайся! Соберись с мыслями!

Катерина. Нет! Не могу! Ничего не могу. У меня уж очень сердце болит.

Кабанова (*входя*). То-то вот, надо жить-то так, чтобы всегда быть готовой ко всему; страху-то бы такого не было.

Кабанов. Да какие ж, маменька, у нее грехи такие могут быть особенные! Все такие же, как и у всех у нас, а это так уж она от природы боится.

Кабанова. А ты почему знаешь? Чужая душа потемки.

Кабанов (*шутя*). Уж разве без меня что-нибудь, а при мне, кажись, ничего не было.

Кабанова. Может быть, и без тебя.

Кабанов (*шутя*). Катя, кайся, брат, лучше, коли в чем грешна. Ведь от меня не скроешься: нет, шалишь! Все узнаю!

Катерина (*смотрит в глаза Кабанову*). Голубчик мой!

Варвара. Ну что ты пристаешь! Разве не видишь, что ей и без тебя тяжело.

Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановым.

К а т е р и н а (*вскрикивает*). Ах!

К а б а н о в. Что ты испугалась! Ты думала, чужой? Это знакомый! Дядюшка здоров ли?

Б о р и с. Слава богу!

К а т е р и н а (*Варваре*). Чего ему еще надо от меня?.. Иль ему мало этого, что я так мучаюсь. (*Приклоняясь к Варваре, рыдает.*)

В а р в а р а (*громко, чтобы мать слышала*). Мы с ног сбились, не знаем, что делать с ней; а тут еще посторонние лезут! (*Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу.*)

К у л и г и н (*выходит на середину, обращаясь к толпе*). Ну чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза! Северное сияние загорится — любоваться бы надобно да дивиться премудрости: “с полных стран встает заря”! А вы ужасаетесь да придумываете, к войне это или к мору. Комета ли идет — не отвел бы глаз! Красота! Звезды-то уже пригляделись, все одни и те же, а это обновка; ну смотрел бы да любовался! А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь вас берет! Изо всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ! Я вот не боюсь. Пойдемте, сударь! Борис. Пойдемте! Здесь страшнее.

Уходят.

Явление пятое

Те же без Бориса и Кулигина.

К а б а н о в а. Ишь какие рацеи развел! Есть что послушать, уж нечего сказать! Вот времена-то пришли, какие-то учителя появились. Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать!

Ж е н щ и н а. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой, так и накрыло.

1-й. Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется, ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая!

2-й. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет. Верно тебе говорю: потому знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит; вот увидишь: потому, смотри, какой цвет необыкновенный!

К а т е р и н а (*прислушиваясь*). Что они говорят? Они говорят, что убьет кого-нибудь.

К а б а н о в. Известно, так, городят зря, что в голову придет.

К а б а н о в а. Ты не осуждай постарше себя! Они больше твоего знают. У старых людей на все приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет.

К а т е р и н а (*мужу*). Тиша, я знаю, кого убьет.

В а р в а р а (*Катерине, тихо*). Ты уж хоть молчи-то!

К а б а н о в. Ты почему знаешь?

К а т е р и н а. Меня убьет. Молитесь тогда за меня!

Входит барыня с лакеями. Катерина с криком прячется.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Декорации первого действия. Сумерки.

Явление четвертое

К а т е р и н а (*одна*). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все равно. Да, что домой, что в могилу!.. Что в могилу! В могиле лучше... Под деревцом могилушка... Как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... Весной на ней травка вырастет, мягкая такая... Птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие... Всякие (*задумывается*), всякие... Так тихо! Так хорошо. Мне как будто легче! А об жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... Нехорошо! И люди мне противны.

Явление пятое

Кабанова, Кабанов и Кулигин.

К у л и г и н. Говорят, здесь видели.

К а б а н о в. Да это верно?

Кулигин. Прямо на нее говорят.

Кабанов. Ну, слава Богу, хоть живую видели-то.

Кабанова. А ты уж испугался, расплакался! Есть о чем. Не беспокойся: еще долго нам с ней маяться будет.

Кабанов. Кто же ее знал, что она сюда пойдет! Место такое людное. Кому в голову придет здесь прятаться.

Кабанова. Видишь, что она делает! Вот какое зелье! Как она характер-то свой хочет выдержать!

С разных сторон собирается народ с фонарями.

Один из народа. Что, нашли?

Кабанова. То-то что нет. Точно провалилась куда.

Несколько голосов. Эка притча! Вот оказия-то! И куда ей деться!

Один из народа. Да найдется!

Другой. Как не найтись!

Третий. Гляди, сама придет.

Голос за сценой: “Эй, лодку!”

Кулигин (с берега). Кто кричит? Что там?

Голос: “Женщина в воду бросилась!”

Кулигин и за ним несколько человек убегают.

Явление шестое

Те же без Кулигина.

Кабанов. Батюшки, она ведь это! (*Хочет бежать.*)

Кабанова удерживает его за руку.

Кабанов. Маменька, пустите, смерть моя! я ее вытащу, а то так и сам... Что мне без нее!

Кабанова. Не пущу, и не думай! Из-за нее да себя губить, стоит ли она того! Мало она нам страму-то надделала, еще что затеяла!

Кабанов. Пустите!

Кабанова. Безтебясть кому. Проклянуну, коли пойдешь.

Кабанов (*падая на колени*). Хоть взглянуть-то мне на нее!

Кабанова. Вытащут: взглянешь.

Кабанов (*встает, к народу*). Что, голубчики, не видать ли чего?

1 - й. Темно внизу-то, не видать ничего.

Шум за сценой.

2 - й. Словно кричат что-то, да ничего не разберешь.

1 - й. Да это Кулигина голос.

2 - й. Вон с фонарем по берегу ходят.

1 - й. Сюда идут. Вон и ее несут.

Несколько народу возвращается.

Один из возвратившихся. Молодец Кулигин! Тут близехонько, в омуточке у берега; с огнем-то оно в воду-то далеко видно; он платье и увидал, и вытащил ее.

Кабанов. Жива?

Другой. Где уж жива! Высоко бросилась-то: тут обрыв, да, должно быть, на якорь попала, ушиблась, бедная! А точно, робяты, как живая! Только на виске маленькая такая ранка, и одна только, как есть одна, капелька крови.

Кабанов бросается бежать; навстречу ему Кулигин с народом несут Катерину.

Явление седьмое

Те же и Кулигин.

Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; душа теперь не ваша; она теперь перед Судией, который милосерднее вас! *(Кладет на землю и убегает.)*

Кабанов *(бросается к Катерине)*. Катя! Катя!

Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех!

Кабанов. Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы...

Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь!

Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!

Кабанова *(сыну)*. Ну, я с тобой дома поговорю. *(Низко кланяется народу.)* Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!

Все кланяются.

Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! *(Падает на труп жены.)*

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой,
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь — в том их призванье!
А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектёры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то и знай по утрам
Всё курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает “трам-трам”,
А иные просители плачут.
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. “Допусти”, — говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: “Гони!
Наш не любит оборванной черни!”
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,

Повторяя: “Суди его бог!”,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...

Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.

Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает.
И к чему? Щелкоперов забавою
Ты народное благо зовешь;
Без него проживешь ты со славою
И со славой умрешь!
Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни.
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное,
Полосами его золотя, —
Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны, — как дитя
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,

И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..

Впрочем, что ж мы такую особу
Беспокоим для мелких людей?
Не на них ли нам выместить злобу?-
Безопасней... Еще веселей
В чем-нибудь приискать утешенье...
Не беда, что потерпит мужик:
Так ведущее нас провиденье
Указало... да он же привык!
За заставой, в харчевне убогой
Всё пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля, —
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,

Иль, судеб повинуюсь закону,
Все, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Ваня (*в кучерском армячке*).

Папаша! кто строил эту дорогу?

Папаша (*в пальто на красной подкладке*),
Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

Разговор в вагоне

1

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —

Все хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

2

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья слышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. “В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!
Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотей-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, божиин ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Все ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..”

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это все братья твои — мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядишься к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!

Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.

3

В эту минуту свисток оглушительный
Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов!
“Видел, папаша, я сон удивительный, —
Ваня сказал, — тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представители
Вдруг появились — и он мне сказал:
“Вот они — нашей дороги строители!..”
Захохотал генерал!

“Был я недавно в стенах Ватикана,
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана,
Что же... все это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?

Вот ваш народ — эти термы и бани,
Чудо искусства — он все растаскал!”-
“Я говорю не для вас, а для Вани...”
Но генерал возражать не давал:
“Ваш славянин, англо-сакс и германец
Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону...”

Рад показать!

Слушай, мой милый: труды роковые
 Кончены — немец уж рельсы кладет.
 Мертвые в землю зарыты; больные
 Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался...
 Крепко затылки чесали они:
 Каждый подрядчику должен остался,
 Стали в копейку прогульные дни!

Все заносили десятники в книжку —
 Брал ли на баню, лежал ли больной:
 “Может, и есть тут теперича лишку,
 Да вот, поди ты!..” Махнули рукой...

В синем кафтане — почтенный лабазник,
 Толстый, присадистый, красный, как медь,
 Едет подрядчик по линии в праздник,
 Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно...
 Пот оттирает купчина с лица
 И говорит, подбоченясь картинно:
 “Ладно... нешто... молодца!.. молодца!..

С богом, теперь по домам, — проздравляю!
 (Шапки долой — коли я говорю!)
 Бочку рабочим вина выставляю
 И — недоимку дарю!..”

Кто-то “ура” закричал. Подхватили
 Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:
 С песней десятники бочку катили...
 Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей — и купчину
 С криком “ура!” по дороге помчал...

Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

Гражданин
(входит)

Опять один, опять суров,
Лежит — и ничего не пишет.

Поэт

Прибавь: хандрит и еле дышит —
И будет мой портрет готов.

Гражданин

Хорош портрет! Ни благородства,
Ни красоты в нем нет, поверь,
А просто пошлое юродство.
Лежать умеет дикий зверь...

Поэт

Так что же?

Гражданин

Да глядеть обидно.

Поэт

Ну, так уйди.

Гражданин

Послушай: стыдно!
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...

Поэт

Положим, я такая редкость,
Но нужно прежде дело дать.

Гражданин

Вот новость! Ты имеешь дело,
Ты только временно уснул,
Проснись: громи пороки смело...

Поэт

А! знаю: Вишь, куда метнул!
Но я обстрелянная птица.
Жаль, нет охоты говорить.

(Берет книгу.)

Спаситель Пушкин! Вот страница:
Прочти и перестань корить!

Гражданин
(читает)

“Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Поэт
(с восторгом)

Неподражаемые звуки!..
Когда бы с Музою моей
Я был немного поумней,
Клянусь, пера бы не взял в руки!

Гражданин

Да, звуки чудные... ура!
Так поразительна их сила,
Что даже сонная хандра

С души поэта соскочила.
Душевно радуюсь — пора!
И я восторг твой разделяю,
Но, признаюсь, твои стихи
Живее к сердцу принимаю.

Поэт

Не говори же чепухи!
Ты рьяный чтец, но критик дикий.
Так я, по-твоему, — великий,
Повыше Пушкина поэт?
Скажи пожалуйста?!

Гражданин

Ну, нет!
Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
Твой стих тягуч. Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо, —
Ты твердо светоч свой держал,
Но небу было неуютно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно;
Дрожащей искрою впотьмах
Он чуть горел, мигал, метался.
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!

Нет, ты не Пушкин. Но покуда,
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Гроза молчит, с волной бездонной
В сияньи спорят небеса,
И ветер ласковый и сонный
Едва колеблет паруса, —
Корабль бежит красиво, стройно,
И сердце путников спокойно,
Как будто вместо корабля
Под ними твердая земля.
Но гром ударил; буря стонет,
И снасти рвет, и мачту клонит, —
Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
Вот пес — и тот опасность знает
И бешено на ветер лает:
Ему другого дела нет...
А ты что делал бы, поэт?
Ужель в каюте отдаленной
Ты стал бы лирой вдохновленной
Ленинцев уши услаждать
И бури грохот заглушать?

Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни — стяжатели и воры,
Другие — сладкие певцы,
А третьи... третьи — мудрецы:
Их назначенье — разговоры.
Свою особу оградя,
Они бездействуют, твердя:
“Неисправимо наше племя,
Мы даром гибнуть не хотим,
Мы ждем: авось поможет время,
И горды тем, что не вредим!”
Хитро скрывает ум надменный

Себялюбивые мечты,
Но... брат мой! кто бы ни был ты,
Не верь сей логике презренной!
Страшись их участь разделить,
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди, и гибни безусловно.
Умрешь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имущий хлеба
Не стоит вещей струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! служба искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви;
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоём труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
А из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!

Поэт

Ты кончил?.. чуть я не уснул.
Куда нам до таких воззрений!
Ты слишком далеко шагнул.
Учить других — потребен гений,
Потребна сильная душа,
А мы с своей душой ленивой,
Самолюбивой и пугливой,
Не стоим медного гроша.
Спеша известности добиться,
Боимся мы с дороги сбиться
И тропкой торною идем,
А если в сторону свернем —
Пропали, хоть беги со света!
Куда жалка ты, роль поэта!
Блажен безмолвный гражданин:
Он, Музам чуждый с колыбели,
Своих поступков господин,
Ведет их к благородной цели,
И труд его успешен, спор...

Гражданин

Не очень лестный приговор.
Но твой ли он? тобой ли сказан?
Ты мог бы правильной судить:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.
Ах! будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!
Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель,
Кто гражданин страны родной?
Где ты? откликнись? Нет ответа.

И даже чужд душе поэта
Его могучий идеал!
Но если есть он между нами,
Какими плачет он слезами!
Ему тяжелый жребий пал,
Но доли лучшей он не просит:
Он, как свои, на теле носит
Все язвы родины своей.

... ..

... ..

Гроза шумит и к бездне гонит
Свободы шаткую ладью,
Поэт клянет или хоть стонет,
А гражданин молчит и клонит
Под иго голову свою.
Когда же... Но молчу. Хоть мало,
И среди нас судьба являла
Достойных граждан... Знаешь ты
Их участь?... Преклони колени!..
Лентяй! смешны твои мечты
И легкомысленные пени — жалобы.
В твоём сравненье смыслу нет.
Вот слово правды беспристрастной:
Блажен болтающий поэт,
И жалок гражданин безгласный!

Поэт

Не мудрено того добить,
Кого уж добивать не надо.
Ты прав: поэту легче жить —
В свободном слове есть отрада.
Но был ли я причастен ей?
Ах, в годы юности моей,
Печальной, бескорыстной, трудной,
Короче — очень безрассудной,
Куда ретив был мой Пегас!
Не розы — я вплетал крапиву
В его размахистую гриву

И гордо покидал Парнас.
Без отвращения, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни,
В суды, в больницы я входил.
Не повторю, что там я видел...
Клянусь, я честно ненавидел!
Клянусь, я искренно любил!
И что ж?.. мои послышав звуки,
Сочли их черной клеветой;
Пришлось сложить смиренно руки
Иль поплатиться головой...
Что было делать? Безрассудно
Винить людей, винить судьбу.
Когда б я видел хоть борьбу,
Бороться стал бы, как ни трудно,
Но... гибнуть, гибнуть... и когда?
Мне было двадцать лет тогда!
Лукаво жизнь вперед манила,
Как моря вольные струи,
И ласково любовь сулила
Мне блага лучшие свои —
Душа пугливо отступила...
Но сколько б не было причин,
Я горькой правды не скрываю
И робко голову склоняю
При слове “честный гражданин”.
Тот роковой, напрасный пламень
Доныне сожигает грудь,
И рад я, если кто-нибудь
В меня с презреньем бросит камень.
Бедняк! и из чего пограл
Ты долг священный человека?
Какую подать с жизни взял
Ты — сын больной большого века?..
Когда бы знали жизнь мою,
Мою любовь, мои волненья...
Угрюм и полон озлобленья,
У двери гроба я стою...

Ах! песнею моей прощальной
Та песня первая была!
Склонила Муза лик печальный
И, тихо зарыдав, ушла.
С тех пор не часты были встречи:
Украдкой, бледная, придет
И шепчет пламенные речи,
И песни гордые поет.
Зовет то в города, то в степи,
Заветным умыслом полна,
Но загремят внезапно цепи —
И мигом скроется она.
Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!
Когда мой ближний утопал
В волнах существенного горя —
То гром небес, то ярость моря
Я добродушно воспевал.
Бичуя маленьких ворюшек
Для удовольствия больших,
Дивил я дерзостью мальчишек
И похвалой гордился их.
Под игом лет душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И Муза вовсе отвернулась,
Презренья горького полна.
Теперь напрасно к ней взываю —
Увы! Сокрылась навсегда.
Как свет, я сам ее не знаю
И не узнаю никогда.
О Муза, гостьею случайной
Являлась ты моей душе?
Иль песен дар необычайный
Судьба предназначала ей?
Увы! кто знает? рок суровый
Все скрыл в глубокой темноте.
Но шел один веночек терновый
К твоей угрюмой красоте...

ЭЛЕГИЯ

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая “страдания народа”
И что поэзия забыть ее должна.
Не верьте, юноши! не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Продвел бы божий мир!... Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет муза,
И в мире нет прочней, прекраснее союза!...
Толпе напоминать, что бедствует народ,
В то время, как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира —
Чему достойнее служить могла бы лира?...

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...
Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиление...
“Довольно ликовать в наивном увлеченье, —
Шепнула Муза мне. — Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..”

Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою,
Старик ли медленный шагает за сохою,
Бежит ли по лугу, играя и свистя,
С отцовским завтраком довольное дитя,
Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы —
Ответа я ищу на тайные вопросы,
Кипящие в уме: “В последние года
Сносней ли стала ты, крестьянская страда?
И рабству долготу пришедшая на смену
Свобода наконец внесла ли перемену
В народные судьбы? в напевы сельских дев?
Иль так же горестен нестройный их напев?..”

Уж вечер настает. Волнуемый мечтами,
По нивам, по лугам, уставленным стогами,
Задумчиво брожу в прохладной полутьме,
И песнь сама собой слагается в уме,
Недавних, тайных дум живое воплощенье:
На сельские труды зову благословенье,
Народному врагу проклятия сулю,
А другу у небес могущества молю,
И песнь моя громка!.. Ей вторят доли, нивы,
И эхо дальних гор ей шлет свои отзвуки,
И лес откликнулся... Природа внемлет мне,
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта,
Увы! не внемлет он — и не дает ответа...

Федор Иванович Тютчев

БЕССОННИЦА

Часов однообразный бой,
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!

Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас?

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, природой целой
Покинуты на нас самих.

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали...

И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!

Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас!

ЦИЦЕРОН

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
“Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!”
Так!.. Но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый!..

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был -
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

29 ЯНВАРЯ 1837

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?
Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою земною,
Навек он вышею рукою

В “цареубийцы” заклеюмен.
Но ты, в безвременную тьму
Вдруг поглощенная со света,
Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью.

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил —
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

ДЕНЬ И НОЧЬ

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами
Вот отчего нам ночь страшна!

МОРЕ И УТЕС

И бунтует, и клокочет,
Хлещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила —
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?

Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой, —
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И клубится мутной пеной
Обессиленный порыв...

Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час-другой —
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой...
Утомясь потехой злою,
Присмирет вновь она
И без вою, и без бою

Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна...

* * *

Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн и жертв, доступных ей.

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!

* * *

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел — спроси и сведай,
Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.

Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески живой?

И что ж теперь? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Жизнь отреченья, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались вспоминанья...
Но изменили и оне.

И на земле ей дико стало,
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.

И что ж от долгого мученья
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

* * *

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит
В нагоде твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

Афанасий Афанасьевич Фет

* * *

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди...
На заре она сладко так спит!

* * *

Я жду... Соловьиное эхо
Несется с блестящей реки,

Трава при луне в бриллиантах,
На тмине горят светляки.
Я жду... Темно-синее небо
И в мелких и в крупных звездах,
Я слышу биение сердца
И трепет в руках и в ногах.

Я жду... Вот повеяло с юга;
Тепло мне стоять и идти;
Звезда покатила на запад...
Прости, золотая, прости!

* * *

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.

Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.

Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад...

Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена —
И над душою каждою
Проносится весна.

* * *

Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ

И целомудренно, и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось!

Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

* * *

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь,
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

* * *

Учись у них — у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.

Все злей метель и с каждой минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!

Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

* * *

Как беден наш язык! — Хочу и не могу. —
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною.
Напрасно вечное томление сердец,
И клонит голову маститую мудрец
Пред этой ложью роковою.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орел,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.

Иван Сергеевич Тургенев

ОТЦЫ И ДЕТИ

(В сокращении)

Посвящается памяти Виссариона
Григорьевича Белинского

— Что, Петр? не видать еще? — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоянного двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать, — вторично ответствовал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоянного дворика хорошее имение в двести душ. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль.

Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями.

Родительница его, из фамилии Колязиных, в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу “матушек-командирш”, носила пышные чепцы, шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, — словом, жила в свое удовольствие.

В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении; и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался “хроменьким”. Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника.

<...> С супругой жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичным двором; он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а их сын Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия.

— Дай же отряхнуться, папаша, — говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, — я тебя всего запачкаю.

— Папаша, — сказал он, — позволь познакомить тебя с добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество.

— Евгений Васильев, — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

— Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, — продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа. <...>

— Вот мы и дома, — промолвил Николай Петрович, сжимая, картуз и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдет ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одеженку, — прибавил он, снимая с себя свой балахон.

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую “одеженку” и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

— Да, надо почиститься, — отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное

и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной: особенно хороши были светлые продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику¹. Совершив предварительно европейское “рукопожатие”, он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: “Добро пожаловать”.

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня, — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. — Разве что на дороге случилось?

— Ничего не случилось, — отвечал Аркадий, — так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьяча, папаша, а я сейчас вернусь.

— Постой, я с тобой пойду, — воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли.

— Кто сей? — спросил Павел Петрович.

¹ Это знаменитое описание внешности Павла Петровича часто высмеивалось и пародировалось. Вот одна из знаменитых пародий “Рапсодия о нигилизме”, написанная В. С. Курочкиным, переводчиком песен Беранже:

Словно вишенка на веточке,
Как картинка на конфеточке,
Посреди толпы неистойой
Вдруг, в рубашечке батистовой,
В скюртучке сукна атласного,
Цвета трюфельно-колбасного,
И в шотландской легкой папочке,
На груди скрестивши лапочки,
Встал Кирсанов...

— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

— Он у нас гостить будет?

— Да.

— Этот волосатый?

— Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

— Я нахожу, что Аркадий стал развязнее, — заметил он. — Я рад его возвращению. <...>

— А чудаковат у тебя дядя, — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. — Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да ведь ты не знаешь, — ответил Аркадий, — ведь он светским львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

— Пожалуй; только он, право, хороший человек.

— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

— Отец у меня золотой человек.

— Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

— Удивительное дело, — продолжал Базаров, — эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено.

<...> Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов; Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни — воротнички рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычно неумолимостью упирались в выбритый подбородок.

— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.

— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

— Да, это заметно. — Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. — Долго он у нас прогостит?

— Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

— А отец его где живет?

— В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именье. Он был прежде полковым доктором.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?

— Кажется, был.

— Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! — Павел Петрович повел усами. — Ну а сам господин Базаров, собственно, что такое? — спросил он с расстановкой.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое?

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист¹.

— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист, — повторил Аркадий.

Нигилист, — проговорил Николай Петрович. — Это от латинского, nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признает?

— Скажи: который ничего не уважает, — подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

¹ Нигилист — это слово использовалось в русском языке и до Тургенева (например, критик и публицист Н. Надеждин написал статью “Сонмище нигилистов” в 1829 г.), но только после романа “Отцы и дети” утвердилось представление о нигилистах как о людях, отрицающих культуру.

— Который ко всему относится с критической точки зрения, — заметил Аркадий.

— А это не все равно? — спросил Павел Петрович.

— Нет, не все равно. Нигилист это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.

— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принципов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил “принцип”, налегая на первый слог), без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя.

— Вот и господин нигилист к нам жалуется, — промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало туюлю его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

— Что это у вас, пиявки? — спросил Павел Петрович.

— Нет, лягушки.

— Вы их едите или разводите?

— Для опытов, — равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

— Это он их резать станет, — заметил Павел Петрович. — В принципы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома “дибоширничает”

и от рук отбился. “Такой уж он Езоп, — сказал он между прочим, — всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет”.

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил, наконец, Николай Петрович.

— Тут у вас болотце есть, возле осинової роши. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий.

— А вы не охотник?

— Нет.

— Вы, собственно, физикой занимаетесь? — спросил в свою очередь Павел Петрович.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

— Да, немцы в этом наши учителя, — небрежно отвечал Базаров.

Слово “германцы”, вместо “немцы”, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканной учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошние ученые дельный народ.

— Так, так. Ну а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

— Пожалуй, что так.

— Это очень похвальное самоотвержение, — произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. — Но как нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

— А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

— Не все, — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: “Учтив твой друг, признаться”.

— Что касается до меня, — заговорил он опять, не без некоторого усилия, — я немцев, грешный человек, не жалею. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда: тогда у них были — ну, там Шиллер, что ли, Гете... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли все какие-то химики да материалисты...

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — перебил Базаров.

— Вот как, — промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. — Вы, стало быть, искусства не признаете?

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — воскликнул Базаров с презрительной усмешкой.

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

— Очень хорошо-с. Ну а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор.

— Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. <...>

Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игро-

ка, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям, Анне — двадцати и Катерине — двенадцати лет. Мать их, из обедневшего рода князей Х...х, скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому, к глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом околотке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями; он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х...ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера, и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподволь занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с мыслию увянуть в глуши... Но судьба судила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудак, ипохондрик, пухлый, тяжелый и кислый, впрочем не глупый и незлой; влюбился в нее, предложил ей руку. Она согласилась быть его женой — а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни; потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии; соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее верст сорок от города***. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями: покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большею частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно

кричали по поводу брака с Одинцовым, сказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогла отцу в его шулерских проделках что и за границу она ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия... “Вы понимаете чего?” — договаривали негодующие рассказчики. “Прошла через огонь и воду” — говорили о ней; а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял: “И через медные трубы”. Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный.

<...> Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, “который имеет смелость ничему не верить”, но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении: она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусства, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним, как с младшим братом...

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, на ни перед чем не отступала и нику-

да не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела их. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по нормам обыкновенной морали считается дозволенным: но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном, спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая, разнеженная, она замечается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит бдагородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей и нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б не считала его за доброго человека) и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого, красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

“Странный человек этот лекарь!” — думала она, лежа в своей великолепной постели, на кружевных подушках, под легким шелковым одеялом... Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его склонности к роскоши.

Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

“Странный этот лекарь!” — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку — и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье...

<...> Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?

— Есть; на что тебе?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

— Ради самого бога, — промолвил Василий Иванович, — позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

— Экой ты охотник до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не велика. Не больно?

— Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

— Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-моему, и адский камень не поможет. Если я заразился, так уж теперь поздно.

— Как ... поздно ... — едва мог произнести Василий Иванович.

— Еще бы! с тех пор четыре часа прошло с лишком. Василий Иванович еще немного прижег ранку.

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

— Не было.

— Как же это, боже мой! Врач — и не имеет такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрел на его ланцеты, — промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предложениям, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился... Но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

— Отчего ты не ешь, Евгений? — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. — Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, так и не ем.

— У тебя аппетита нету? А голова? — прибавил он робким голосом, — болит?

— Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

— Не рассердись, пожалуйста, Евгений, — продолжал Василий Иванович, — но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

— Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар.

— И озноб был?

— Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял, — промолвила Арина Власьевна.

— Простудился, — повторил Базаров и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовлением чаю из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратно глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, “как дышит Енюша”, и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: “Лучше” — и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусил губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами. Но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она, наконец, схватила его за руку и судорожно, с угрозой, промолвила: “Да что с ним?”. Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ;

но, к собственному ужасу вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором послал с утра. Он почел нужным предупредить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться. Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

— Старина, — начал Базаров сильным и медленным голосом, — дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

— Евгений! — пролепетал он, — что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился...

— Полно, — не спеша перебил его Базаров. — Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

— Где же признаки... заражения, Евгений? Помилуй!

— А это что? — промолвил Базаров и, приподнял рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим, — сказал он наконец, — положим... если... если даже что-нибудь вроде... заражения...

— Пиэмии, — подсказал сын.

— Ну да... вроде... эпидемии...

— Пиэмии, — сурово и отчетливо повторил Базаров. — Аль уж позабыл свои тетрадки?

— Ну да, да, как тебе угодно... А все-таки мы тебя вылечим!

— Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу.

<...> Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного. Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери, до

того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила — мгновенно сверкнула у ней в голове.

— Спасибо, — усиленно заговорил он, — я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

— Анна Сергеевна так была добра... — начал Василий Иванович.

— Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело. Василий Иванович вышел.

— Ну, спасибо, — повторил Базаров. — Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.

— Евгений Васильич, я надеюсь...

— Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем.. Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и фюить! (Он слабо махнул рукой.) Ну что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая...

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь... сядьте там... Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

— Великодушная! — шепнул он. — Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! Задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Все равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал нащупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиток, не снимая перчаток и боязливо дыша.

— Меня вы забудете, — начал он опять, — мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет... Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось... вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать... Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен?

<...> Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три оципанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряблых старичка — муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долгой внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь, не всемогуща? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...

Николай Семенович Лесков

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Глава I

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе — о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

“Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому “на долгих”, в общем тарантасе или “на сдаточных”, — да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоянный дворник шельма, а “куфарка” у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, — изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту “куфарку” обругаешь, а она тебя на ответ — вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша прееет, — ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ешь — пожевать некогда; день-день-день и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда”.

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания.

— Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них

есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от рождества до крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

— Ну, я не совсем с вами согласен, — отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать.

— Я думаю, — продолжал он, — что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.

— Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.

— А что же? — я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

— Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!

— О, будьте уверены, — я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

— Да, — отвечал тот, — вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава II

Назад тому три года брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила — приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: “Жените меня”.

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристаёт: “Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, — хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!”.

— Ну да постой же, — говорим, — все это прекрасно и пусть будет по-твоему, — господь тебя благослови, — женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

— Что же — времени довольно: две недели святок венчаться нельзя, — вы меня в это время сосватайте, а на крещение вечером мы обвенчаемся и уедем.

— Э, — говорю, — да ты, любезный мой, должно быть немножко с ума сошел от скуки. (Слова “психопат” тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, — говорю, — с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело. Жена говорит мне:

— У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: “Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать — жените меня на ней!”.

Я отвечаю жене:

— Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

— Нет, позволь, — отвечает жена, — отчего же это непременно “одурел”? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

— Что это такое я уважал?

— Безотчетные симпатии, влечения сердца.

— Ну, — говорю, — матушка, меня на это не подде-нешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это — что такое... в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

— Да, а ты что же имеешь против Машеньки? — она именно такая и есть, как ты говоришь, — девушка ясно-го ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.

— Как! — воскликнул я, — так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

— Признание, — отвечает, — не признание, а разве это не видно? Любовь ведь — это по нашему женскому ве-домству, — мы ее замечаем и видим в самом зародыше.

— Вы, — говорю, — все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет — это до вас не касается. Побойся последствий твоего лег-комыслия.

— А я ничего, — говорит, — не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой — прекрасный человек и Маша — премилая девушка, и они как дали слово за-ботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.

— Как! — закричал я, себя не помня, — они уже и слово друг другу дали?

— Да, — отвечает жена, — это было пока иносказа-тельно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, я вечером поеду с твоим братом к ним, — он, наверно, понравится старикам, и потом...

— Что же, что потом?

— Потом — пускай как знают; ты только не мешайся.

— Хорошо, — говорю, — хорошо, — очень рад в по-добную глупость не мешаться.

— Глупости никакой не будет.

— Прекрасно.

— И будет все очень хорошо: они будут счастливы!

— Очень рад! Только не мешает, — говорю, — моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

— Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева — все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

— Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, — и Маше ничего не даст.

— Почему это знать? Он ее больше всех любит.

— Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их “особенная” любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя — он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самую утрированную деликатностью, он и по-давно оставит на бобах.

— То есть как это, — говорит, — на бобах?

— Ну, матушка, это ты дурачишься.

— Нет, не дурачусь.

— Да разве ты не знаешь, что такое значит “оставить на бобах”? Ничего не даст Машеньке, — вот и вся недолга.

— Ах, вот это-то!

— Ну, конечно.

— Конечно, конечно! Это быть может, но только я, — говорит, — никогда не думала, что по-твоему — получить путную жену, хотя бы и без приданого, — это называется “остаться на бобах”.

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас — в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок...

— Я говорю вовсе не о себе...

— Нет, отчего же?..

— Ну, это странно, *ma chere!*

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.

— Ну, думал.

— Нет — совсем и не думал.

— Ну, воображал.

— Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал.

— Да чего же ты кричишь?!

— Я не кричу.

— И “черти”... “черт”... Что это такое?

— Да потому, что ты меня из терпения выводешь.

— Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, “начав — как бог, окончил — как свинья”. Я принял обиженный вид, — потому, что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, — и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения — снова отворил дверь и сказал:

— Это свинство!

А она отвечает:

— *Mersi*, мой милый муж.

Глава III

Черт знает, что за сцена! И не забудьте — это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно — и непереносно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи — в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слу-

шаться... Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с нею, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разобрались, как портной с портнихой... И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти...

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь — носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

— Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета. Смотрю — в доме везде темно и тихо. Спрашиваю горничную:

— Где же барыня?

— А они, — отвечает, — уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

“Какова! — думаю, — значит, она своего упорства не оставляет, — она-таки хочет женить брата на Машеньке... Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат — воплощенная честность и деликатность. Тем лучше, — пусть он их надует — и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!”

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превеселые.

Жена говорит мне:

— Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? А мы у Васильевых ужинали.

— Нет, — говорю, — покорно благодарю.

— Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

— Вот как!

— Да — мы превесело провели время и шампанское пили.

— Счастливыцы! — говорю, а сам думаю: “Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пошла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом — быть бычку на обрывочку”.

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы — во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастью, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

— Это что же такое?

— А это дары жениха невесте, — объяснила мне моя жена.

— Ага! Так вот уже как! Поздравляю.

— Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

— Да прекрасно, — говорю, — незачем было меня и ждать.

— Ты, кажется, остришь?

— Нисколько я не острую.

— Или иронизируешь?

— И не иронизирую.

— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твоё карканье, они будут пресчастливы.

— Конечно, — говорю, — уж если ты ручаешься, то будут... Есть такая поговорка: "Кто думает три дни, тот выберет злыдни". Не выбирать — вернее.

— А что же, — отвечает жена, закрывая корзинку с дарами, — ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.

— Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

— Да, сватаются — это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

— Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал — именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

— И врешь.

— Как вру?

— Врешь — потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

— А за что же?

— За то, что я тебе понравилась.

— Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?

— Нимало — достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

— Однако же, — говорю, — я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

- Чтобы смотреть на меня.
— Неправда — я изучал твой характер.
Жена расхохоталась.
— Что за пустой смех!
— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал, и изучать не мог.
— Это почему?
— Сказать?
— Сделай милость, скажи!
— Потому, что ты был в меня влюблен.
— Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.
— Мешало.
— Нет, не мешало.
— Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно. Выдумаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением.
— Ну... однако, — говорю, — ты уж это как-то... очень реально.
А сам думаю: “Ведь это правда!”.
А жена говорит:
— Полно думать, — худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедem к Машеньке: мы сегодня у них встречаем рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.
— Очень рад, — говорю. И поехали.

Глава IV

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В таком настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей, — и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, “мочимордием”, что оправдали дедовское речение: “Руси есть веселие пити”. Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

“Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца”.

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, рясами, — назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать — мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: “Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это — вечное”.

Но у женщин ведь на все свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы.

А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

— Это, — говорит, — во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста, но тем не менее я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

— Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод — *d'edu douce* (фр. — “из пресных вод”), тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила *perle d'edu douce*, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, — но я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего *aves fleches d'Amour* (фр. — “со стрелами Амура”), а подарю вам хладнокровный “лунный камень”. Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего...

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после крещенья перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

Глава V

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице. встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху. Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

— А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожидаемые радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

— Что же такое еще с тобою случилось?

— А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

— Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

— Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее: “Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый”.

Жена моя так и села.

— Вот, — говорит, — негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

— Ты неправа: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся... Что же мне тут печального? Я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, — не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше?

Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, этого не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиною стоит тесть и держит что-то в руке в платочке...

“Здравствуй, — говорит, — зятюшка!”. Я вскочил, обнял его и говорю: “Вот это мило! Мы должны были к вам через час ехать, а вы сами... Это против всех обычаев... мило и дорого”.

“Ну что, — отвечает, — за счеты! Мы свои. Я был у обедни, — помолился за вас и вот просвиру вам привез”.

Я его опять обнял и поцеловал.

“А ты письмо мое получил?” — спрашивает.

“Как же, — говорю, — получил”.

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

“Чего же, — говорит, — ты смеешься? Забавно?”.

“Да как же”.

“А ты подай-ка мне жемчуг”.

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, — я его и подал. “Есть у тебя увеличительное стекло?”. Я говорю: “Нет”.

“Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь посмотреть на замок под собачку”.

“Для чего мне смотреть?”.

“Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул”.

“Вовсе не думаю”.

“Нет — смотри, смотри!”.

Я взял стекло и вижу — на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: “Бургильон”.

“Убедился, — говорит, — что это действительно жемчуг фальшивый?”.

“Вижу”.

“И что же ты мне теперь скажешь?”.

“То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном просить...”.

“Проси, проси!”.

“Позвольте не говорить об этом Маше”.

“Это для чего?”.

“Так...”.

“Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?”.

“Да — это между прочим”.

“А еще что?”.

“А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца”.

“Против отца?”.

“Да”.

“Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное — муж...”.

“Никогда, — говорю, — сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу — другая, и кроме того... муж, который желает быть счастливым, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям”.

“Ага! Вот ты какой практик!”.

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит: “Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слышал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее — они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!”. И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

— Неужели, — говорю, — все это твоей жене?

— Нет, — отвечает, — он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю: “Знаете, Николай Иванович, — это будет щекотливо... Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее — нет... Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь... Нет, бог с ними, — оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость... А одним нам... не надо!”

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул:

“Марья!”.

Мапа уже была в пеньюаре и вышла.

“Поздравляю, — говорит, — тебя”.

Она поцеловала его руку.

“А счастлива быть хочешь?”.

“Конечно, хочу, папа, и... надеюсь”.

“Хорошо... Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!”.

“Я, папа, не выбирала. Мне его бог дал”.

“Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придумаю: я тебе хочу прибавить счастья. — Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама — скажи, что ты даришь...”.

“Папа!”.

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю — и он заплакал.

“Встань, встань! — говорит. — Ты нынче, по народному слову, “княгиня” — тебе неприлично в землю мне кланяться”.

“Но я так счастлива... за сестер!..”

“То-то и есть... И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг — фальшивый, меня им давно сердечный приятель надул, — да ведь какой, — не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть невозможно — душа не стерпит!”.

— Вот вам весь мой рассказ, — заключил собеседник, — и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе и форме традиционного святочного рассказа.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ (фрагменты)

СЕМЕЙНЫЙ СУД

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно за-

мялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

— Что еще? — спросила она, смотря на бурмистра в упор.

— Все-с, — попробовал было отвитьнуть Антон Васильев.

— Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

— Сказывай, какое еще дело за тобой есть? — решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна, — говори! не виляй хвостом... сума переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала "переметной сумой" не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

— Есть, действительно... — пробормотал наконец Антон Васильев.

— Что? что такое? — взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

— Степан Владимырьч дом-то в Москве продали... — доложил бурмистр с расстановкой.

— Ну?

— Продали-с.

— Почему? как? не мни! сказывай!

— За долги... так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать не станут.

— Стало быть, полиция продала? суд?

— Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимырьч кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось, — и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не заметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, завидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опаматовалась и произнесла:

— Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозного молчания.

— Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? — переспросила она.

— Так точно.

— Это — родительское-то благословение! Хорош... мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому что мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось: “Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала! чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продала за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом, два года тому назад, собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за восемь-то

тысяч с аукциона приобрести!”. С другой стороны, приходило на мысль и то: “Полиция за восемь тысяч продала! Это — родительское-то благословение! Мерзавец! за восемь тысяч родительское благословение спустил!”.

— От кого слышал? — спросила наконец она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда.

— Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

— А почему он вовремя меня не предупредил?

— Поопасился, стало быть.

— Поопасился! вот я ему покажу: “поопасился”! Вызвать его из Москвы, и как явится — сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! “Поопасился”!

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище “сума переметная” невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда.

Сверх того, это был его приятель душевный и кум — и вдруг его в солдаты, ради того только, что он, Антон Васильев, как сума переметная, не сумел язык за зубами попридержать!

— Простите... Ивана-то Михайлыча! — заступился было он.

— Ступай... потатчик! — прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова.

Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

* * *

Арина Петровна — женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно; единолично и бесконтрольно управляет

обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупое, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от детей требует, чтобы они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: что-то об этом маменька скажет? Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее — человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно говорит об себе, что она — ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в Петербурге, частью — пошли в отца и, в качестве “постылых”, не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово “семья” не сходит с ее языка и, по наружности, всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолоду был известен своим безалаберным и озорным характером и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и занимался сочинением так называемых “вольных стихов”. В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч, собственно для того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились, со стороны жены, полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусо-

сти. Муж называл жену “ведьмою” и “чертом”, жена называла мужа — “ветряною мельницей” и “бесструнной балалайкой”. Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили барину ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского имения, и действительно, в течение сорокалетней супружеской жизни, успела удесятерить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету и всегда, как снег на голову, являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальни, то единственно для того, чтоб просунуть голову в полурастворенную дверь женой комнаты, крикнуть: “Черт!” — и опять скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными

ми предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась.

Степан Владимырьч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число “постылых” и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери — способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось “ведьме”, то есть Арине Петровне. Но “ведьма” словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса. Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.

— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна, — убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, покладливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лет, Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванию; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и и благодаря своей податливости на всякую штуку скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он, естественно, тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышутился окончательно. Тем не меньше благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожалала плечами и промолвила: дивлюсь! Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сто рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом — никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже

бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: “я раньше в сем была уверена” и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете излюбленных крестьян, было решено определить Степку-балбеса в надворный суд, поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимырьч в надворном суде — неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она “выбросила сыну кусок”, который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и “родительское благословение”. Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку (“то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!” — молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему милость. Но, увы! он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на ногах — сапоги навыпуск и в кармане — сто рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и недолге проиграл все. Тогда он принялся ходить по зажиточным

крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но, наконец, наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь — в Головлево.

После Степана Владимыряча старшим членом головлевского семейства была дочь, Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в чайные сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка, в одну прекрасную ночь, бежала из Головлева с корнетом Улановым и повенчалась с ним.

— Так, без родительского благословения, как собаки, и повенчались! — сетовала по этому случаю Арина Петровна — Да хорошо еще, что кругом налято муженек обвел! Другой бы попользовался — да и был таков! Ищи его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с постылым сыном: взяла и “выбросила ей кусок”. Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упалою усадьбой, в которой изо всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была приютить круглых сирот у себя. Что она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

— У бога милостей много, — говорила она при этом, — сиротки хлеба не бог знает что съедят, а мне на старости лет — утешение! Одну дочку бог взял — двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимирычу: “Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков...”

Вообще, как ни циничным может показаться это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло “выбрасывание кусков”, не только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил и, раз “выбросивши кусок”, уже считала поконченными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. При чем говорила:

— Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да уходом стоят — ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, бог мне заплатит!

Наконец младшие дети, Порфирий и Павел Владимирычи, находились на службе в Петербурге: первый — по гражданской части, второй — по военной. Порфирий был женат, Павел — холостой.

Порфирий Владимирыч известен был в семействе под тремя именами: Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваньям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такие, — рассуждала она иногда сама с собою, — взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!

И припомнились ей при этом многозначительные подробности того времени, когда она еще была “тяжела” Порфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли Порфишей-блажененьким и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды и кого-то бог даст ей, сына или дочь — ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед за тем пробормотал:

— Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит; наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно — три раза-то прокричал!) она родила сына (вот оно — петушок-петушок!), которого и называли Порфирием, в честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: “наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет”? — вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на Порфишу, покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придиричивая подозрительность — и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: “Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть”. И как ни сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не

выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего кусочка на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимирычем представлял брат его, Павел Владимирыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком, он не выказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Представляется ему, что он толкнулся в окно наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или — что он не Павел-дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла борода как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит-поглядит, бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце.

— Ты что, как мышь на крупу, надулся! — не утерпит и прикрикнет она на него, — или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери подойти: маменька мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свой угол и медленными шагами словно его в спину толкали, приближался к матери.

— Маменька, мол, — повторял он каким-то неестественным для ребенка басом, — приласкайте меня, душенька!

— Пошел с моих глаз... тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-прожекты как на ладони вижу!

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимирыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой, в конечном результате, получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и не глуп, но всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостепри-

имство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слышали, чтоб кто-нибудь сказал: как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев! В довершение всего он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее, как огня. Повторяю: это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков — и ничего больше.

В зрелом возрасте различие характеров обоих братьев всего резче высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клешами вытаскивал из себя каждое слово. “Деньги столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил, — уведомлял, например, Порфирий Владимырьч, — а за присылку оных, для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерною сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я”... и т. д. А Павел, по тому же поводу, выражался: “Деньги столько-то на такой-то срок, дражайшая родительница, получил, и, по моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить”. Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся этим замечаниям и писал: “Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских

об нас попечений, и, что всего хуже, по свойственному человеку заблуждению, даже забываем о сем, в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть, в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег осмотрительным”. А Павел отвечал так: “Дражайшая родительница! Хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение”. Даже на письмо Арины Петровны, с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны, оба брата отозвались различно. Порфирий Владимирыч писал: “Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбью, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест, в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае, убежище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос”. Павел же писал: “Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что всевышний успокоит ее в своих сенях, хотя сие и неизвестно”...

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимирыча, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

— Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! — восклицала она, — недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного нет! все-то он лжет! и “милый дружок маменька”, и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!

Потом примется за письмо Павла Владимирыча, и опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей.

— Глуп-глуп, а смотри, как исподтишка мать козыряет! “В чем и прошу чувствительнейше принять уверение...”, милости просим! Вот я тебе покажу, что значит “чувствительнейше принимать уверение”! Выброшу тебе кусок, как Степке-балбесу, — вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои “уверения”!

И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль:

— И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей недосыпаю, куска недоедаю... для кого?!

Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой-балбесом “выброшенного куска”, который, ввиду дешевой его продажи, получал уже сугубое значение “родительского благословения”.
<...>

Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая головлевская колокольня.

Лицо Степана Владимирыча побледнело, руки затряслись: он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой, но он тотчас же понял, что, в применении к нему, подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на головлевской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны и теперь, постылого же, вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить.

Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие медузиной головы. Там чудился ему гроб. Гроб! гроб! гроб! — повторял он бессознательно про себя. И не решился-таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.

Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице; деревенские мальчишки столпились вокруг него и смотрели на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него; какой-то старик-дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко и жутко.

Наконец поп пришел и сказал, что “маменька готовы принять” Степана Владимирыча. Через десять минут он был уже там. Арина Петровна встретила его торжественно-строго и смерила с ног до головы ледяным взглядом; но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила, а так на девичьем крыльце свиделась и рассталась, приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал.

— Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! — крикнул он, покуда Степан Владимирыч целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: — Съест! съест! съест!

— Съест! — словно эхо, откликнулось и в его душе.

Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его, и — захлопнулись.

Федор Михайлович Достоевский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

(фрагменты)

В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда

картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека.

Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи... Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь, далее и шагах в трехстах огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом, в которую он раза два в год ходил с матерью к обедне, когда служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно, и которую он никогда не видал. При этом всегда они брали с собою кутью на белом блюде, в салфетке, а кутья была сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большею частью без окладов, и старого священника с дрожащею головой. Подле бабушкиной могилы, на которой была плита, была и маленькая могилка его меньшого брата, умершего шести месяцев и которого он тоже совсем не знал и не мог

помнить; но ему сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее. И вот снится ему: они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака; он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак.

Особенное обстоятельство привлекает его внимание: на этот раз тут как будто гулянье, толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега, но странная телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с возами даже легче, чем без возов. Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые — он часто это видел — надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка. Но вот вдруг становится очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих рубашках, с армяками внакидку. “Садись, все садись! — кричит один, еще молодой, с толстою такою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом, — всех доведу, садись!”. Но тотчас же раздается смех и восклицанья:

— Этака кляча да повезет!

— Да ты, Миколка, в уме, что ли: этаку кобыленку в таку телегу запрег!

— А ведь савраске-то беспременно лет двадцать уж будет, братцы!

— Садись, всех доведу! — опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет вожжи и становится на передке

во весь рост. — Гнедой даве с Матвеем ушел, — кричит он с телеги, — а кобыленка этта, братцы, только сердце мое надрывает: так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест. Говорю садись! Вскачь пуцу! Вскачь пойдет! — И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь савраску.

— Да садись, чего! — хохочут в толпе. — Слышь, вскачь пойдет!

— Она вскачь-то уж десять лет, поди, не прыгала.

— Запрыгает!

— Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, зготовляй!

— И то! Секи ее!

Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и еще можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться: этакая лядащая кобыленка да таку тягость вскачь везти будет! Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается: “ну!”, клячонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет.

— Пусти и меня, братцы! — кричит один разлакомившийся парень из толпы.

— Садись! Все садись! — кричит Миколка, — Всех повезет! Засеку! — И хлещет, хлещет и уже не знает, чем и бить от остервенения.

— Папочка, папочка, — кричит он отцу, — папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют!

— Пойдем, пойдем! — говорит отец, — пьяные, шалят, дураки: пойдем, не смотри! — и хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает.

— Секи до смерти! — кричит Миколка, — на то пошло. Засеку!

— Да что на тебе креста, что ли, нет, леший! — кричит один старик из толпы.

— Видано ль, чтобы така лошаденка таку поклажу везла, — прибавляет другой.

— Заморишь! — кричит третий.

— Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю. Садись! Все садись! Хочу, чтобы беспреренно вскачь пошла!..

Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все: кобыленка не вынесла учащенных ударов и в бессилии начала лягаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь: этака лядащая кобыленка, а еще лягается!

Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с боков. Каждый бежит с своей стороны.

— По морде ее, по глазам хлещи, по глазам! — кричит Миколка.

— Песню, братцы! — кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает орешки и посмеивается.

...Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седою бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увести; но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает лягаться.

— А чтобы те леший! — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над савраской.

— Разразит! — кричат кругом.

— Убьет!

— Мое добро! — кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар.

— Секи ее, секи! Что стали! — кричат голоса из толпы.

А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает,

дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывезти; но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить.

— Живуча! — кричат кругом.

— Сейчас беспрременно падет, братцы, тутей и конец! — кричит из толпы один любитель.

— Топором ее, чего! Покончить с ней разом, — кричит третий.

— Эх, ешь те комары! Расступись! — неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. — Берегись! — кричит он и что есть силы огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул; кобыленка запаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом.

— Добивай! — кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают что попало — кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает.

— Доконал! — кричат в толпе.

— А зачем вскачь не шла!

— Мое добро! — кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит будто жалея, что уж некого больше бить.

— Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! — кричат из толпы уже многие голоса.

Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его наконец и выносит из толпы.

— Пойдем! Пойдем! — говорит он ему, — домой пойддем!

— Папочка! За что они... бедную лошадку... убили! — всхлипывает он, но дыханье ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди.

— Пьяные, шалют, не наше дело, пойдём! — говорит отец.

Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть, и просыпается.

Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе.

“Слава богу, это только сон! — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. — Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон!”. Все тело его было как бы разбито; смутно и темно на душе. Он положил локти на колена и подпер обеими руками голову.

— “Боже! — воскликнул он, — да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?”

— Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я все же равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же и до сих пор...”

Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда, и пошел на Т-в мост. Он был бледен, глаза его горели, изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. “Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!”

Проходя чрез мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!

— Да что же это я! — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении, — ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю... чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило...

Он съел немного, без аппетита, ложки три-четыре, как бы машинально. Голова болела меньше. Пообедав, протянулся он опять на диван, но заснуть уже не мог, а лежал без движения, ничком, уткнув лицо в подушку. Ему все грезилось, и все странные такие были грезы: всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды; кругом пальмы растут целым кругом; все обедают. Он же все пьет воду, прямо из ручья, который тут же, у бока, течет и журчит. И прохладно так, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку... Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана. На цыпочках подошел он к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно билось. Но на лестнице было все тихо, точно все спали... Дико и чудно показалось ему, что он мог проспать в таком забытьи со вчерашнего дня и ничего еще не сделал, ничего не приготовил... А меж тем, может, и шесть часов било... И необыкновенная лихорадочная и какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг, вместо сна и отупения. Приготовлений, впрочем, было немного. Он напрягал все усилия, чтобы все сообразить и ничего не забыть; а сердце все билось, стучало так, что ему дышать стало тяжело. Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить — дело минуты. Он полез под подушку и отыскал в напиханном под нее белье одну, совершенно развалившуюся, старую, невытую свою рубашку. Из

лохмотьев ее он выдрал тесьму, в вершок шириной и вершков в восемь длиной. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто (единственное его верхнее платье) и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись пришивая, но он одолел и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголка и нитки были у него уже давно приготовлены и лежали в столике, в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка: петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках. А если под пальто спрятать, то все-таки надо было рукой придерживать, что было бы приметно. Теперь же, с петлей, стоит только вложить в нее лезвие топора, и он будет висеть спокойно, под мышкой изнутри, всю дорогу. Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец топорной ручки придерживать, чтоб она не болталась; а так как пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и не могло быть приметно снаружи, что он что-то рукой, через карман, придерживает. Эту петлю он тоже две недели назад придумал... <...>

Он растегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правой рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы; самому ему слышалось, как они, с каждым мгновением, все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор... вдруг голова его как бы закружилась.

— Да что он тут навертел! — с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону.

Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.

Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей

на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать “заклад”. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу: она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой.

Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровию, — в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться... Ключи он тотчас же вынул; все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. Это была очень небольшая комната, с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым, наборным из лоскутков, ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело: только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. Ему вдруг опять захотелось бросить все и уйти. Но это было только мгновение; уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку; да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее снурок, дернул его, но снурок был крепок и не срывался; к тому

же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы рубнуть по шнуру тут же, по телу, сверху, но не посмел, и с трудом, испачкав руки и топор, после двухминутной возни, разрезал шнурок, не касаясь топором тела, и снял; он не ошибся — кошелек. На шнурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок; и тут же вместе с ними висел небольшой, замшевый, засаленный кошелек, с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит; Раскольников сунул его в карман, не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.

Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно: не вкладывались они в замки. Не то чтобы руки его так дрожали, но он все ошибался: и видит, например, что ключ не тот, не подходит, а все сует. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ, с зубчатой бородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода (как и в прошлый раз ему на ум пришло), а от какой-нибудь укладки, и что в этой-то укладке, может быть, все и припрятано. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть: стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклою крышей, обитая красным сафьяном, с утыканными по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белую простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром; под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. “Красное, ну а на красном кровь неприметнее”, — рассудилось было ему, и вдруг он опомнился: “Господи! С ума, что ли, я схожу?” — подумал он в испуге.

Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг, из-под шубки, выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были

перемешаны золотые вещи — вероятно, все заклады, выкупленные и невыкупленные, — браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно, в двойные листы, и кругом обвязаны тесемками. Нимало не медля, он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров; но он не успел много набрать...

Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина, с минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни.

Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз и навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую.

Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждой минутой. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты.

Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им: минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам. Впрочем, заглянув на кухню и увидав на лавке ведро, наполовину полное воды, он догадался вымыть себе руки и топор. Руки его были в крови и липли. Топор он опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке, на расколотем блюбочке, кусочек мыла и стал, прямо в ведре, отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо, и долго, минуты с три, отмывал дерево, где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню, и потом долго, со вниманием, осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко еще было сырое. Тщательно вложил он топор в петлю, под пальто. Затем, сколько позволял свет в тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было; только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, есть что-нибудь в глаза бросающееся, чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная, темная мысль поднималась в нем, — мысль, что он сумасшествует и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе,

может быть, не то надо делать, что он теперь делает... "Боже мой! Надо бежать, бежать!" — пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал...

Он забылся; странным показалось ему, что он не помнит, как мог он очутиться на улице. Был уже поздний вечер. Сумерки сгущались, полная луна светлела все ярче и ярче; но как-то особенно душно было в воздухе. Люди толпой шли по улицам; ремесленники и занятые люди расходились по домам, другие гуляли; пахло известью, пылью, стоячею водой. Раскольников шел грустный и озабоченный: он очень хорошо помнил, что вышел из дому с каким-то намерением, что надо было что-то сделать и поспешить, но что именно — он позабыл. Вдруг он остановился и увидел, что на другой стороне улицы, на тротуаре, стоит человек и машет ему рукой. Он пошел к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошел как ни в чем не бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая вида, что звал его. "Да полно, звал ли он?" — подумал Раскольников, однако ж стал догонять. Не доходя шагов десяти, он вдруг узнал его и — испугался; это был давешний мещанин, в таком же халате и так же сгорбленный. Раскольников шел издали; сердце его стучало; повернули в переулок — тот все не оборачивался. "Знает ли он, что я за ним иду?" — думал Раскольников. Мещанин вошел в ворота одного большого дома. Раскольников поскорей подошел к воротам и стал глядеть: не оглянется ли он и не позовет ли его? В самом деле, пройдя всю подворотню и уже выходя во двор, тот вдруг обернулся и опять точно как будто махнул ему. Раскольников тотчас же прошел подворотню, но во дворе мещанина уж не было. Стало быть, он вошел тут сейчас на первую лестницу. Раскольников бросился за ним. В самом деле, двумя лестницами выше слышались еще чьи-то мерные, неспешные шаги. Странно, лестница была как будто знакомая! Вон окно в первом этаже; грустно и таинственно проходил сквозь стекла лунный свет; вот и второй этаж. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали... Как же он не узнал тотчас? Шаги впереди идущего человека затихли: "Стало быть, он остановился

или где-нибудь спрятался”. Вот и третий этаж; идти ли дальше? И какая там тишина, даже страшно... Но он пошел. Шум его собственных шагов его пугал и тревожил Боже, как темно! Мещанин, верно, тут где-нибудь притаился в углу. А! квартира отворена настежь на лестницу он подумал и вошел. В передней было очень темно и пусто ни души, как будто все вынесли, тихонько, на цыпочках: прошел он в гостиную: вся комната была ярко облита лунным светом; все тут по-прежнему: стулья, зеркало, желтый диван и картинки в рамках. Огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окна. “Это от месяца такая тишина, — подумал Раскольников, — он верно, теперь загадку загадывает”. Он стоял и ждал, долго ждал, и чем тише был месяц, тем сильнее стучало его сердце, даже больно становилось. И все тишина. Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. “Зачем тут салоп? — подумал он, — ведь его прежде не было...”. Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: “Бойтся!” — подумал он тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, — так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее

и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна людей, двери на лестнице открыты настежь, и на площадке, на лестнице и туда вниз — все люди, голова с головой, все смотрят, — но все притаились и ждут, молчат... Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли... Он хотел вскрикнуть и — проснулся.

Он тяжело перевел дыхание, — но странно, сон как будто все еще продолжался: дверь его была открыта настежь, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал.

Раскольников не успел еще совсем раскрыть глаза и мигом закрыл их опять. Он лежал навзничь и не шевельнулся. “Сон это продолжается или нет”, — думал он и чуть-чуть, неприметно опять приподнял ресницы поглядеть: незнакомый стоял на том же месте и продолжал в него вглядываться. Вдруг он переступил осторожно через порог, бережно притворил за собой дверь, подошел к столу, подождал с минуту, — все это время не спуская с него глаз, — и тихо, без шума, сел на стул подле дивана; шляпу поставил сбоку, на полу, а обеими руками оперся на трость, опустив на руки подбородок. Видно было, что он приготовился долго ждать. Сколько можно было разглядеть сквозь мигавшие ресницы, человек этот был уже немолодой, плотный и с густою, светлою, почти белою бородой...

Прошло минут с десять. Было еще светло, но уже вечерело. В комнате была совершенная тишина. Даже с лестницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло. Наконец это стало невыносимо: Раскольников вдруг приподнялся и сел на диване.

— Ну, говорите, чего вам надо?

— А ведь я так и знал, что вы не спите, а только вид показываете, — странно ответил незнакомый, спокойно рассмеявшись. — Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться...

ВОЙНА И МИР

Том 2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. На предпоследней станции, встретив товарища, Денисов выпил с ним три бутылки вина и подъезжая к Москве, несмотря на ухабы дороги, не просыпался, лежа на дне перекладных саней, подле Ростова, который, по мере приближения к Москве, приходил все более и более в нетерпение.

“Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики!” — думал Ростов, когда уже они записали свои отпуска на заставе и въехали в Москву.

— Денисов, приехали! Спит! — говорил он, всем телом подаваясь вперед, как будто он этим положением надеялся ускорить движение саней. Денисов не откликнулся.

— Вот он угол-перекресток, где Захар извозчик стоит; вот он и Захар, и все та же лошадь. Вот и лавочка, где пряники покупали. Скоро ли? Ну!

— К какому дому-то? — спросил ямщик.

— Да вон на конце, к большому, как ты не видишь! Это наш дом, — говорил Ростов, — ведь это наш дом! Денисов! Денисов! Сейчас приедем.

Денисов поднял голову, откашлялся и ничего не ответил.

— Дмитрий, — обратился Ростов к лакею на облучке. — Ведь это у нас огонь?

— Так точно-с и у папеньки в кабинете светится.

— Еще не ложились? А? как ты думаешь? Смотри же не забудь, тотчас достань мне новую венгерку, — прибавил Ростов, ощупывая новые усы. — Ну же пошел, —

кричал он ямщику. — Да проснись же, Вася, — обращался он к Денисову, который опять опустил голову. — Да ну же, пошел, три целковых на водку, пошел! — закричал Ростов, когда уже сани были за три дома от подъезда. Ему казалось, что лошади не двигаются. Наконец сани взяли вправо к подъезду; над головой своей Ростов увидел знакомый карниз с отбитой штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб. Он на ходу выскочил из саней и побежал в сени. Дом также стоял неподвижно, нерадушно, как будто ему дела не было до того, кто приехал в него. В сенях никого не было. “Боже мой! все ли благополучно?”, подумал Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым, покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, также слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча.

Старик Михайла спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покровок лапти. Он взглянул на отворившуюся дверь, и равнодушное, сонное выражение его вдруг преобразилось в восторженно-испуганное.

— Батюшки, светы! Граф молодой! — вскрикнул он, узнав молодого барина. — Что ж это? Голубчик мой! — И Прокофий, трясаясь от волнения, бросился к двери в гостиную, вероятно для того, чтобы объявить, но видно опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина.

— Здоровы? — спросил Ростов, выдергивая у него свою руку.

— Слава Богу! Все слава Богу! Сейчас только покушали! Дай на себя посмотреть, ваше сиятельство!

— Все совсем благополучно?

— Слава Богу, слава Богу!

Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную, большую залу. Все то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто-то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери

ВОЙНА И МИР

Том 2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. На предпоследней станции, встретив товарища, Денисов выпил с ним три бутылки вина и подъезжая к Москве, несмотря на ухабы дороги, не просыпался, лежа на дне перекладных саней, подле Ростова, который, по мере приближения к Москве, приходил все более и более в нетерпение.

“Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики!” — думал Ростов, когда уже они записали свои отпуска на заставе и въехали в Москву.

— Денисов, приехали! Спит! — говорил он, всем телом подаваясь вперед, как будто он этим положением надеялся ускорить движение саней. Денисов не откликался.

— Вот он угол-перекресток, где Захар извозчик стоит; вот он и Захар, и все та же лошадь. Вот и лавочка, где пряники покупали. Скоро ли? Ну!

— К какому дому-то? — спросил ямщик.

— Да вон на конце, к большому, как ты не видишь! Это наш дом, — говорил Ростов, — ведь это наш дом! Денисов! Денисов! Сейчас приедем.

Денисов поднял голову, откашлялся и ничего не ответил.

— Дмитрий, — обратился Ростов к лакею на облучке. — Ведь это у нас огонь?

— Так точно-с и у папеньки в кабинете светится.

— Еще не ложились? А? как ты думаешь? Смотри же не забудь, тотчас достань мне новую венгерку, — прибавил Ростов, ощупывая новые усы. — Ну же пошел, —

кричал он ямщику. — Да проснись же, Вася, — обращался он к Денисову, который опять опустил голову. — Да ну же, пошел, три целковых на водку, пошел! — закричал Ростов, когда уже сани были за три дома от подъезда. Ему казалось, что лошади не двигаются. Наконец сани взяли вправо к подъезду; над головой своей Ростов увидел знакомый карниз с отбитой штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб. Он на ходу выскочил из саней и побежал в сени. Дом также стоял неподвижно, нерадушно, как будто ему дела не было до того, кто приехал в него. В сенях никого не было. “Боже мой! все ли благополучно?”, подумал Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым, покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, также слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча.

Старик Михайла спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покровок лапти. Он взглянул на отворившуюся дверь, и равнодушное, сонное выражение его вдруг преобразилось в восторженно-испуганное.

— Батюшки, светы! Граф молодой! — вскрикнул он, узнав молодого барина. — Что ж это? Голубчик мой! — И Прокофий, трясаясь от волнения, бросился к двери в гостиную, вероятно для того, чтобы объявить, но видно опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина.

— Здоровы? — спросил Ростов, выдергивая у него свою руку.

— Слава Богу! Все слава Богу! Сейчас только покушали! Дай на себя посмотреть, ваше сиятельство!

— Все совсем благополучно?

— Слава Богу, слава Богу!

Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную, большую залу. Все то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто-то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери

и обняло и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери; еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их — это он помнил.

— А я то, не знал... Николушка... друг мой!

— Вот он... наш то... Друг мой, Коля... Переменился!
Нет свечей! Чаю!

— Да меня-то поцелуй!

— Душенька... а меня-то.

Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф, обнимали его; и люди и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали.

Петя повис на его ногах.

— А меня-то! — кричал он.

Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, отскочила от него и держась за полу его венгерки, прыгала как коза все на одном месте и пронзительно визжала.

Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя.

Соня красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала. Соне минуло уже 16 лет, и она была очень красива, особенно в эту минуту счастливого, восторженного оживления. Она смотрела на него, не спуская глаз, улыбаясь и задерживая дыхание. Он благодарно взглянул на нее; но все еще ждал и искал кого-то. Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери.

Но это была она в новом, незнакомом еще ему, сшитом без него платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки. Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза.

— Василий Денисов, друг вашего сына, — сказал он, рекомендуясь графу, вопросительно смотревшему на него.

— Милости прошу. Знаю, знаю, — сказал граф, целуя и обнимая Денисова. — Николушка писал... Наташа, Вера, вот он Денисов.

Те же счастливые, восторженные лица обратились на мохнатую фигуру Денисова и окружили его.

— Голубчик, Денисов! — ризгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его. Все смутились поступком Наташи. Денисов тоже покраснел, но улыбнулся и взяв руку Наташи, поцеловал ее.

Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы все собрались в диванную около Николушки.

Старая графиня, не выпуская его руки, которую она всякую минуту целовала, сидела с ним рядом; остальные, столпившись вокруг них, ловили каждое его движение, слово, взгляд, и не спускали с него восторженно-влюбленных глаз. Брат и сестры спорили и перехватывали места друг у друга поближе к нему, и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку.

Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастья ему казалось мало, и он все ждал чего-то еще, и еще, и еще.

На другое утро приезжие спали с дороги до 10-го часа.

В предшествующей комнате валялись сабли, сумки, тапки, раскрытые чемоданы, грязные сапоги. Вычищенные две пары сапогов были только что поставлены у стенки. Слуги приносили умывальники, горячую воду для бритья и вычищенные платья. Пахло табаком и мужчинами.

— Гей, Г'ишка, т'убку! — крикнул хриплый голос Васьки Денисова. — Ростов, вставай!

Ростов, протирая слипавшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки.

— А что поздно?

— Поздно, 10-й час, — отвечал Наташин голос, и в соседней комнате послышалось шуршанье крахмаленных платьев, шепот и смех девичьих голосов, и в чуть раство-

ренную дверь мелькнуло что-то голубое, ленты, черные волосы и веселые лица. Это была Наташа с Соней и Петей, которые пришли навеститься, не встал ли.

— Николенька, вставай! — опять послышался голос Наташи у двери.

— Сейчас!

В это время Петя, в первой комнате, увидав и схватив сабли, и испытывая тот восторг, который испытывают мальчики при виде воинственного старшего брата, и забыв, что сестрам неприлично видеть раздетых мужчин, отворил дверь.

— Это твоя сабля? — кричал он. Девочки отскочили. Денисов с испуганными глазами спрятал свои мохнатые ноги в одеяло, оглядываясь за помощью на товарища. Дверь пропустила Петю и опять затворилась. За дверью послышался смех.

— Николенька, выходи в халате, — проговорил голос Наташи.

— Это твоя сабля? — спросил Петя, — или это ваша? — с подобострастным уважением обратился он к усатому, черному Денисову.

Ростов поспешно обулся, надел халат и вышел. Наташа надела один сапог с шпорой и влезала в другой. Соня кружилась и только что хотела раздуть платье и присесть, когда он вышел. Обе были в одинаковых, новеньких, голубых платьях — свежие, румяные, веселые. Соня убежала, а Наташа, взяв брата под руку, повела его в диванную, и у них начался разговор. Они не успевали спрашивать друг друга и отвечать на вопросы о тысячах мелочей, которые могли интересовать только их одних. Наташа смеялась при всяком слове, которое он говорил и которое она говорила, не потому, чтобы было смешно то, что они говорили, но потому, что ей было весело и она не в силах была удерживать своей радости, выражавшейся смехом.

— Ах, как хорошо, отлично! — приговаривала она ко всему. Ростов почувствовал, как под влиянием жарких лучей любви, в первый раз через полтора года, на душе его и на лице распускалась та детская улыбка, которую он ни разу не улыбался с тех пор, как выехал из дома.

— Нет, послушай, — сказала она, — ты теперь совсем мужчина? Я ужасно рада, что ты мой брат. — Она тронула его усы. — Мне хочется знать, какие вы мужчины? Такие ли, как мы? Нет?

— Отчего Соня убежала? — спрашивал Ростов.

— Да. Это еще целая история! Как ты будешь говорить с Соней? Ты или вы?

— Как случится, — сказал Ростов.

— Говори ей вы, пожалуйста, я тебе после скажу.

— Да что же?

— Ну я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг, такой друг, что я руку сожгу для нее. Вот посмотри. — Она засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, худой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локтя (в том месте, которое закрыто бывает и бальными платьями) красную метину.

— Это я сожгла, чтобы доказать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне, да и прижала.

Сидя в своей прежней классной комнате, на диване с подушечками на ручках, и глядя в эти отчаянно-оживленные глаза Наташи, Ростов опять вошел в тот свой семейный, детский мир, который не имел ни для кого никакого смысла, кроме как для него, но который доставлял ему одни из лучших наслаждений в жизни; и сожжение руки линейкой, для показания любви, показалось ему не бесполезно: он понимал и не удивлялся этому.

— Так что же? только? — спросил он.

— Ну так дружны, так дружны! Это что, глупости — линейкой; но мы навсегда друзья. Она кого полюбит, так навсегда; а я этого не понимаю, я забуду сейчас.

— Ну так что же?

— Да, так она любит меня и тебя. — Наташа вдруг покраснела, — ну ты помнишь, перед отъездом... Так она говорит, что ты это все забудь... Она сказала: я буду любить его всегда, а он пускай будет свободен. Ведь правда, что это отлично, благородно! — Да, да? очень благородно? да? — спрашивала Наташа так серьезно и взволнованно, что видно было, что то, что она говорила теперь, она прежде говорила со слезами.

Ростов задумался.

— Я ни в чем не беру назад своего слова, — сказал он. — И потом, Соня такая прелесть, что какой же дурак станет отказываться от своего счастья?

— Нет, нет, — закричала Наташа. — Мы про это уже с нею говорили. Мы знали, что ты это скажешь. Но это нельзя, потому что, понимаешь, ежели ты так говоришь — считаешь себя связанным словом, то выходит, что она как будто нарочно это сказала. Выходит, что ты все-таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то.

Ростов видел, что все это было хорошо придумано ими. Соня и вчера поразила его своей красотой. Нынче, увидав ее мельком, она ему показалась еще лучше. Она была прелестная 16-летняя девочка, очевидно страстно его любящая (в этом он не сомневался ни на минуту). От чего же ему было не любить ее теперь, и не жениться даже, думал Ростов, но теперь столько еще других радостей и занятий! “Да, они это прекрасно придумали, — подумал он, — надо оставаться свободным”.

— Ну и прекрасно, — сказал он, — после поговорим. Ах как я тебе рад! — прибавил он.

— Ну, а что же ты, Борису не изменила? — спросил брат.

— Вот глупости! — смеясь крикнула Наташа. — Ни об нем и ни о ком я не думаю и знать не хочу.

— Вот как! Так ты что же?

— Я? — переспросила Наташа, и счастливая улыбка осветила ее лицо. — Ты видел Duport’a?

— Нет.

— Знаменитого Дюпора, танцовщика не видал? Ну так ты не поймешь. Я вот что такое. — Наташа взяла, округлив руки, свою юбку, как танцуют, отбежала несколько шагов, перевернулась, сделала антраша, побила ножкой об ножку и, став на самые кончики носков, прошла несколько шагов.

— Ведь стою? ведь вот, — говорила она; но не удержалась на цыпочках. — Так вот я что такое! Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы. Только никому не говори.

Ростов так громко и весело захохотал, что Денисову из своей комнаты стало завидно, и Наташа не могла удержаться, засмеялась с ним вместе.

— Нет, ведь хорошо? — все говорила она.

— Хорошо, за Бориса уже не хочешь выходить замуж? Наташа вспыхнула.

— Я не хочу ни за кого замуж итти. Я ему то же самое скажу, когда увижу.

— Вот как! — сказал Ростов.

— Ну, да, это все пустяки, — продолжала болтать Наташа. — А что, Денисов хороший? — спросила она.

— Хороший.

— Ну и прощай, одевайся. Он страшный, Денисов?

— Отчего страшный? — спросил Nicolas. — Нет. Васька славный.

— Ты его Васькой зовешь — странно. А, что он очень хорош?

— Очень хорош.

— Ну, приходи скорей чай пить. Все вместе.

И Наташа встала на цыпочках и проплась из комнаты так, как делают танцовщицы, но улыбаясь так, как только улыбаются счастливые 15-летние девочки. Встретившись в гостиной с Соней, Ростов покраснел. Он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались в первую минуту радости свидания, но нынче они чувствовали, что нельзя было этого сделать; он чувствовал, что все, и мать и сестры, смотрели на него вопросительно и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и назвал ее вы — Соня. Но глаза их, встретившись, сказали друг другу “ты” и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что так ли, иначе ли, он никогда не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее.

— Как однако странно, — сказала Вера, выбрав общую минуту молчания, — что Соня с Николенькой теперь встретились на вы и как чужие. — Замечание Веры было справедливо, как и все ее замечания; но как и от большей части ее замечаний всем сделалось неловко, и не только Соня, Николай и Наташа, но и старая графиня, которая боялась этой любви сына к Соне, могущей лишить его бле-

стоящей партии, тоже покраснела, как девочка. Денисов, к удивлению Ростова, в новом мундире, напомаженный и надушенный, явился в гостиную таким же щеголем, каким он был в сражениях, и таким любезным с дамами и кавалерами, каким Ростов никак не ожидал его видеть.

II

Вернувшись в Москву из армии, Николай Ростов был принят домашними как лучший сын, герой и ненаглядный Николушка; родными — как милый, приятный и почтительный молодой человек; знакомыми — как красивый гусарский поручик, ловкий танцор и один из лучших женихов Москвы.

Знакомство у Ростовых была вся Москва; денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что были перезаложены все имения, и потому Николушка, заведя своего собственного рысака и самые модные рейтузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было, и сапоги, самые модные, с самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами, проводил время очень весело. Ростов, вернувшись домой, испытал приятное чувство после некоторого промежутка времени примеривания себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Отчаяние за невыдержанный из закона Божьего экзамен, занятие денег у Гаврилы на извозчика, тайные поцелуи с Соней, он про все это вспоминал, как про ребячество, от которого он неизмеримо был далек теперь. Теперь он — гусарский поручик в серебряном ментике, с солдатским Георгием, готовит своего рысака на бег, вместе с известными охотниками, пожилыми, почтенными. У него знакомая дама на бульваре, к которой он ездит вечером. Он дирижировал мазурку на бале у Архаровых, разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, бывал в английском клубе, и был на ты с одним сорокалетним полковником, с которым познакомил его Денисов.

Страсть его к государю несколько ослабела в Москве, так как он за это время не видал его. Но он часто рассказывал о государе, о своей любви к нему, давая чувствовать,

что он еще не все рассказывает, что что-то еще есть в его чувстве к государю, что не может быть всем понятно; и от всей души разделял общее в то время в Москве чувство обожания к императору Александру Павловичу, которому в Москве в то время было дано наименование ангела во плоти.

В это короткое пребывание Ростова в Москве, до отъезда в армию, он не сблизился, а напротив, разошелся с Соней. Она была очень хороша, мила, и, очевидно, страстно влюблена в него; но он был в той поре молодости, когда кажется так много дела, что некогда этим заниматься, и молодой человек боится связываться — дорожит своей свободой, которая ему нужна на многое другое. Когда он думал о Соне в это новое пребывание в Москве, он говорил себе: Э! еще много, много таких будет и есть там, где-то, мне еще неизвестных. Еще успею, когда захочу, заняться и любовью, а теперь некогда. Кроме того, ему казалось что-то унижительное для своего мужества в женском обществе. Он ездил на балы и в женское общество, притворяясь, что делал это против воли. Бега, английский клуб, кутеж с Денисовым, поездка туда — это было другое дело: это было прилично молодцу-гусару.

В начале марта, старый граф Илья Андреич Ростов был озабочен устройством обеда в английском клубе для приема князя Багратиона.

Граф в халате ходил по зале, отдавая приказания клубному эконому и знаменитому Феоктисту, старшему повару английского клуба, о спарже, свежих огурцах, землянике, телянке и рыбе для обеда князя Багратиона. Граф, со дня основания клуба, был его членом и старшиною. Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку, хлебосольно устроить пир, особенно потому, что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся на устройство пира. Повар и эконом клуба с веселыми лицами слушали приказания графа, потому что они знали, что ни при ком, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обеде, который стоил несколько тысяч.

— Так смотри же, гребешков, гребешков в тортю положи, знаешь! — Холодных стало быть три?... — спрашивал повар. Граф задумался. — Нельзя меньше, три... майонез раз, — сказал он, загибая палец...

— Так прикажете стерлядей больших взять? — спросил эконом. — Что ж делать, возьми, коли не уступают. Да, батюшка ты мой, я было и забыл. Ведь надо еще другую антре на стол. Ах, отцы мои! — Он схватился за голову. — Да кто же мне цветы привезет?

— Митинька! А Митинька! Скачи ты, Митинька, в подмосковную, — обратился он к вошедшему на его зов управляющему, — скачи ты в подмосковную и вели ты сейчас нарядить барщину Максимке-садовнику. Скажи, чтобы все оранжереи сюда волок, укутывал бы войлоками. Да чтобы мне двести горшков тут к пятнице были.

Отдав еще и еще разные приказания, он вышел было отдохнуть к графинюшке, но вспомнил еще нужное, вернулся сам, вернул повара и эконома и опять стал приказывать. В дверях послышалась легкая, мужская походка, бряцанье шпор, и красивый, румяный, с чернеющимися усиками, видимо отдохнувший и выхолившийся на спокойном житье в Москве, вошел молодой граф.

— Ах, братец мой! Голова кругом идет, — сказал старик, как бы стыдясь, улыбаясь перед сыном. — Хоть вот ты бы помог! Надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть, да цыган что ли позвать? Ваша братия-военные это любят.

— Право, папенька, я думаю, князь Багратион, когда готовился к Шенграбенскому сражению, меньше хлопотал, чем вы теперь, — сказал сын, улыбаясь.

Старый граф притворился рассерженным.

— Да, ты толкуй, ты попробуй!

И граф обратился к повару, который с умным и почтенным лицом, наблюдательно и ласково поглядывал на отца и сына.

— Какова молодежь-то, а, Феокист? — сказал он, — смеется над нашим братом-стариками.

— Что ж, ваше сиятельство, им бы только покушать хорошо, а как все собрать да сервировать, это не их дело.

— Так, так, — закричал граф, и весело схватив сына за обе руки, закричал: — Так вот же что, попался ты мне! Возьми ты сейчас сани парные и ступай ты к Безухову, и скажи, что граф, мол, Илья Андреич прислали просить у вас земляники и ананасов свежих. Больше ни у кого не достанешь. Самого-то нет, так ты зайди, княжнам скажи, и оттуда, вот что, поезжай ты на Разгуляй — Ипатка-кучер знает — найди ты там Ильюшку-цыгана, вот что у графа Орлова тогда плясал, помнишь, в белом казакине, и притащи ты его сюда, ко мне.

— И с цыганками его сюда привести? — спросил Николай смеясь. — Ну, ну!...

В это время неслышными шагами, с деловым, озабоченным и вместе христиански-кротким видом, никогда не покидавшим ее, вошла в комнату Анна Михайловна. Несмотря на то, что каждый день Анна Михайловна заставляла графа в халате, всякий раз он конфузился при ней и просил извинения за свой костюм.

— Ничего, граф, голубчик, — сказала она, кротко закрывая глаза. — А к Безухову я съезжу, — сказала она. — Пьер приехал, и теперь мы все достанем, граф, из его оранжерей. Мне и нужно было видеть его. Он мне прислал письмо от Бориса. Слава Богу, Боря теперь при штабе.

Граф обрадовался, что Анна Михайловна брала одну часть его поручений, и велел ей заложить маленькую карету.

— Вы Безухову скажите, чтоб он приезжал. Я его запишу. Что он с женой? — спросил он.

Анна Михайловна завела глаза, и на лице ее выразилась глубокая скорбь...

— Ах, мой друг, он очень несчастлив, — сказала она. — Ежели правда, что мы слышали, это ужасно. И думали ли мы, когда так радовались его счастью! И такая высокая, небесная душа, этот молодой Безухов! Да, я от души жалею его и постараюсь дать ему утешение, которое от меня будет зависеть.

— Да что ж такое? — спросили оба Ростова, старший и младший.

Анна Михайловна глубоко вздохнула:

— Долохов, Марьи Ивановны сын, — сказала она таинственным шопотом, — говорят, совсем компрометировал ее. Он его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге, и вот... Она сюда приехала, и этот сорви-голова за ней, — сказала Анна Михайловна, желая выразить свое сочувствие Пьеру, но в невольных интонациях и полуулыбкою выказывая сочувствие сорви-голове, как она назвала Долохова. — Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем.

— Ну, все-таки скажите ему, чтоб он приезжал в клуб, — все рассеется. Пир горой будет.

На другой день, 3-го марта, во 2-м часу пополудни, 250 человек членов Английского клуба и 50 человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя Австрийского похода, князя Багратиона. В первое время по получении известия об Аустерлицком сражении Москва пришла в недоумение. В то время русские так привыкли к победам, что, получив известие о поражении, одни просто не верили, другие искали объяснений такому странному событию в каких-нибудь необыкновенных причинах. В Английском клубе, где собиралось все, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяце, когда стали приходиться известия, ничего не говорили про войну и про последнее сражение, как будто все сговорились молчать о нем. Люди, дававшие направление разговорам, как-то: граф Ростопчин, князь Юрий Владимирович Долгорукий, Валуев, гр. Марков, кн. Вяземский, не показывались в клубе, а собирались по домам, в своих интимных кружках, и москвичи, говорившие с чужих голосов (к которым принадлежал и Илья Андреич Ростов), оставались на короткое время без определенного суждения о деле войны и без руководителей. Москвичи чувствовали, что что-то нехорошо и что обсуждать эти дурные вести трудно, и потому лучше молчать. Но через несколько времени, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились и тузы, дававшие мнение в клубе, и все заговорило ясно и определенно. Были найдены причины тому невероятному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты, и все стало ясно, и во всех углах Москвы заговорили одно и то же. Причины эти

были: измена австрийцев, дурное продовольствие войска, измена поляка Пшебышевского и француза Ланжерона, неспособность Кутузова, и (потихоньку говорили) молодость и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям. Но войска, русские войска, говорили все, были необыкновенны и делали чудеса храбрости. Солдаты, офицеры, генералы — были герои. Но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим Шенграбенским делом и отступлением от Аустерлица, где он один провел свою колонну нерасстроенною и целый день отбивал вдвое сильнеешего неприятеля. Тому, что Багратион выбран был героем в Москве, содействовало и то, что он не имел связей в Москве, и был чужой. В лице его отдавалась должная честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату, еще связанному воспоминаниями Итальянского похода с именем Суворова. Кроме того в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось нерасположение и неодобрение Кутузову.

— Ежели бы не было Багратиона, *il faudrait l'inventer*, [надо бы изобрести его.] — сказал шутник Шиншин, пародируя слова Вольтера. Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шепотом бранили его, называя придворною вертушкой и старым сатиром. По всей Москве повторялись слова князя Долгорукова: “лепя, лепя и облепишься”, утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед, и повторялись слова Ростопчина про то, что французских солдат надо возбуждать к сражениям высокопарными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, чем идти вперед; но что русских солдат надо только удерживать и просить: потише! Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества, оказанных нашими солдатами и офицерами при Аустерлице. Тот спас знамя, тот убил 5 французов, тот один заряжал 5 пушек. Говорили и про Берга, кто его не знал, что он, раненный в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед. Про Болконского ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он рано умер, оставив беременную жену и чудака-отца.

III

3-го марта во всех комнатах Английского клуба стоял стон разговаривающих голосов и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились, в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах, члены и гости клуба. Пудренные, в чулках и башмаках ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими, самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным, привычным местам и сходились в известных, привычных кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных гостей — преимущественно молодежи, в числе которой были Денисов, Ростов и Долохов, который был опять семеновским офицером. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, которое как будто говорит старому поколению: уважать и почитать вас мы готовы, но помните, что все-таки за нами будущность.

Несвицкий был тут же, как старый член клуба. Пьер, по приказанию жены отпустивший волосы, снявший очки и одетый по модному, но с грустным и унылым видом, ходил по залам. Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования и рассеянной презрительностью обращался с ними.

По годам он бы должен был быть с молодыми, по богатству и связям он был членом кружков старых, почтенных гостей, и потому он переходил от одного кружка к другому.

Старики из самых значительных составляли центр кружков, к которым почтительно приближались даже незнакомые, чтобы послушать известных людей. Большие кружки составлялись около графа Ростопчина, Валуева и Нарышкина. Ростопчин рассказывал про то, как русские

были смяты бежавшими австрийцами и должны были штыком прокладывать себе дорогу сквозь беглецов.

Валуев конфиденциально рассказывал, что Уваров был прислан из Петербурга, для того чтобы узнать мнение москвичей об Аустерлице.

В третьем кружке Нарышкин говорил о заседании австрийского военного совета, в котором Суворов закричал петухом в ответ на глупость австрийских генералов. Шиншин, стоявший тут же, хотел пошутить, сказав, что Кутузов, видно, и этому нетрудному искусству — кричать по петушину — не мог выучиться у Суворова; но старички строго посмотрели на шутника, давая ему тем чувствовать, что здесь и в нынешний день так неприлично было говорить про Кутузова.

Граф Илья Андрейч Ростов, озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапогах из столовой в гостиную, поспешно и совершенно просто робел, одинаково здороваясь с важными и неважными лицами, которых он всех знал, и изредка отыскивая глазами своего стройного молодца-сына, радостно останавливался на нем свой взгляд и подмигивал ему. Молодой Ростов стоял у окна с Долоховым, с которым он недавно познакомился, и знакомством которого он дорожил. Старый граф подошел к ним и пожал руку Долохову.

— Ко мне милости прошу, вот ты с моим молодцом знаком... вместе там, вместе геройствовали... А! Василий Игнатьич... здорово старый, — обратился он к проходившему старичку, но не успел еще договорить приветствия, как все зашевелилось, и прибежавший лакей, с испуганным лицом, доложил: пожаловали!

Раздались звонки; старшины бросились вперед; разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу и остановились в большой гостиной у дверей залы.

В дверях передней показался Багратион, без шляпы и шпаги, которые он, по клубному обычаю, оставил у швейцара. Он был не в смушковом картузе с нагайкой через плечо, как видел его Ростов в ночь накануне Аустерлицкого сражения, а в новом узком мундире с русскими и иностранными орденами и с георгиевской звездой на

левой стороне груди. Он видимо сейчас, перед обедом, подстриг волосы и бакенбарды, что невыгодно изменяло его физиономию. На лице его было что-то наивно-праздничное, дававшее, в соединении с его твердыми, мужественными чертами, даже несколько-комическое выражение его лицу. Беклешов и Федор Петрович Уваров, приехавшие с ним вместе, остановились в дверях, желая, чтобы он, как главный гость, прошел вперед их. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью; произошла остановка в дверях, и наконец Багратион все-таки прошел вперед. Он шел, не зная куда девать руки, застенчиво и неловко, по паркету приемной: ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене. Старшины встретили его у первой двери, сказав ему несколько слов о радости видеть столь дорогого гостя, и недождавшись его ответа, как бы завладев им, окружили его и повели в гостиную. В дверях гостиной не было возможности пройти от столпившихся членов и гостей, давивших друг друга и через плечи друг друга старавшихся, как редкого зверя, рассмотреть Багратиона. Граф Илья Андреич, энергичнее всех, смеясь и приговаривая: — пусти, mon cher, пусти, пусти, — протолкал толпу, провел гостей в гостиную и посадил на средний диван. Тузы, почетнейшие члены клуба, обступили вновь прибывших. Граф Илья Андреич, проталкиваясь опять через толпу, вышел из гостиной и с другим старшиной через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали сочиненные и напечатанные в честь героя стихи. Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи. Но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно, обеими руками, взял блюдо и сердито, укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо (а то бы он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так идти к столу) и обратил его внимание на стихи. “Ну и прочту”, как будто сказал Багратион и устремив усталые глаза на бумагу, стал читать с сосредото-

точеным и серьезным видом. Сам сочинитель взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал.

“Славь Александра век
И охраняй нам Тита на престоле,
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве а Цесарь в бранном поле.
Да счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов русских боле...”

Но еще он не кончил стихов, как громогласный дворецкий провозгласил: “Кушанье готово!”. Дверь открылась, загремел из столовой польский: “Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс”, и граф Илья Андреич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланялся перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте, между двух Александров — Беклешова и Нарышкина, что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Багратиона: 300 человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее, поближе к чествуемому гостю: так же естественно, как вода разливается туда глубже, где местность ниже.

Перед самым обедом граф Илья Андреич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреич радостно и гордо оглядывал всех в то время, как Багратион говорил с его сыном.

Николай Ростов с Денисовым и новым знакомцем Долоховым сели вместе почти на середине стола. Напротив них сел Пьер рядом с князем Несвицким. Граф Илья Андреич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угощал князя, олицетворяя в себе московское радушие.

Труды его не пропали даром. Обеды его, постный и скромный, были великолепны, но совершенно спокоен он все-таки не мог быть до конца обеда. Он подмигивал буфетчику, шепотом приказывал лакеям, и не без волнения ожидал каждого, знакомого ему блюда. Все было прекрас-

но. На втором блюде, вместе с исполинской стерлядью (увидав которую, Илья Андреич покраснел от радости и застенчивости), уже лакеи стали хлопать пробками и наливать шампанское. После рыбы, которая произвела некоторое впечатление, граф Илья Андреич переглянулся с другими старшинами. — “Много тостов будет, пора начинать!” — шепнул он и взяв бокал в руки — встал. Все замолкли и ожидали, что он скажет.

— Здоровье государя императора! — крикнул он, и в ту же минуту добрые глаза его увлажнились слезами радости и восторга. В ту же минуту заиграли: “Гром победы раздавайся”. Все встали с своих мест и закричали ура!” и Багратион закричал “ура!” тем же голосом, каким он кричал на Шенграбенском поле. Восторженный голос молодого Ростова был слышен из за всех 300 голосов. Он чуть не плакал.

— Здоровье государя императора, — кричал он, — ура!

Выпив залпом свой бокал, он бросил его на пол. Многие последовали его примеру. И долго продолжались громкие крики. Когда замолкли голоса, лакеи подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться, и улыбаясь своему крику, переговариваться. Граф Илья Андреич поднялся опять, взглянул на записочку, лежавшую подле его тарелки и провозгласил тост за здоровье героя нашей последней кампании, князя Петра Ивановича Багратиона, и опять голубые глаза графа увлажнились слезами. “Ура!” опять закричали голоса 300 гостей, и вместо музыки слышались певчие, певшие кантату сочинения Павла Ивановича Кутузова.

“Тщетны россам все препоны,
Храбрость есть побед залог,
Есть у нас Багратионы,
Будут все враги у ног” и т. д.

Только что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых все больше и больше расчувствовался граф Илья Андреич, и еще больше билось посуды, и еще больше кричалось. Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя,

за здоровье всех членов клуба, за здоровье всех гостей клуба и наконец отдельно за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреича. При этом тосте граф вынул платок и, закрыв им лицо, совершенно расплакался.

IV

Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая-то большая перемена. Он молчал все время обеда и, шурясь и морщась, глядел кругом себя или остановив глаза, с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, происходящего вокруг него, и думал о чем-то одном, тяжелом и неразрешенном.

Этот неразрешенный, мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки, и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного него. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными, наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая все прошедшее своей жены и ее отношения с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правда, могло по крайней мере казаться правдой, ежели бы это касалось не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено все после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему займы денег. Пьер вспоминал, как Элен, улыбаясь, выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил

ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними.

“Да, он очень красив, думал Пьер, я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтобы осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда; но я не верю, не имею права и не могу верить”. Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека, или убивал из пистолета лошадь ямщика. Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. “Да, он бретер, думал Пьер, ему ничего не значит убить человека, ему должно казаться, что все боятся его, ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно я боюсь его”, думал Пьер, и опять при этих мыслях он чувствовал, как что-то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень веселы. Ростов весело переговаривался со своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бретер и повеса, и изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде поражал своей сосредоточенной, рассеянной, массивной фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьера, во-первых, потому, что Пьер в его гусарских глазах был штатский богач, муж красавицы, вообще баба; во-вторых, потому, что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить здоровье государя, Пьер, задумавшись, не встал и не взял бокала.

— Что ж вы? — закричал ему Ростов, восторженно-озлобленными глазами глядя на него. — Разве вы не слышите; здоровье государя императора!

Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и, дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову.

— А я вас и не узнал, — сказал он. — Но Ростову было не до этого, он кричал “ура!”.

— Что ж ты не возобновишь знакомство, — сказал Долохов Ростову.

— Бог с ним, дурак, — сказал Ростов.

— Надо лелеять мужей хорошеньких женщин, — сказал Денисов. Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся.

— Ну, теперь за здоровье красивых женщин, — сказал Долохов, и с серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру.

— За здоровье красивых женщин, Петруша, и их любовников, — сказал он.

Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его руки и стал читать. Пьер взглянул на Долохова, зрачки его опустились: что-то страшное и безобразное, мутившее его во все время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол: — Не смейте брать! — крикнул он.

Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, Несвицкий и сосед с правой стороны испуганно и поспешно обратились к Безухову.

— Полноте, полно, что вы? — шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же улыбкой, как будто он говорил: “А вот это я люблю”.

— Не дам, — проговорил он отчетливо.

Бледный, с трясущейся губой, Пьер рванул лист.

— Вы... вы... негодяй!.. я вас вызываю, — проговорил он, и двинув стул, встал из-за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучивший его эти последние сутки, был окончательно и несомненно решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова, и после стола переговорил с Несвицким,

секундантом Безухова, об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников.

— Так до завтра, в Сокольниках, — сказал Долохов, прощаясь с Ростовым на крыльце клуба.

— И ты спокоен? — спросил Ростов...

Долохов остановился.

— Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну дуэли. Ежели ты идешь на дуэль и пишешь заветания да нежные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя могут убить, ты — дурак и наверно пропал; а ты иди с твердым намерением его убить, как можно поскорее и повернее, тогда все исправно. Как мне говаривал наш костромской медвежатник: медведя-то, говорит, как не бояться? да как увидишь его, и страх прошел, как бы только не ушел! Ну так-то и я. *A demain, mon cher!* [До завтра, мой милый!]

На другой день, в 8 часов утра, Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал ту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его: виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. “Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте, думал Пьер. Даже наверное я бы сделал то же самое; к чему же эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь”, приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли. он с особенно-спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал: “Скоро ли, и готово ли?”.

Когда все было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру.

— Я бы не исполнил своей обязанности, граф, — сказал он робким голосом, — и не оправдал бы того доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную минуту, очень важную минуту, не сказал вам всю правду. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин, и что не стоит того, чтобы за него проливать кровь... Вы были неправы, не совсем правы, вы погорячились...

— Ах да, ужасно глупо... — сказал Пьер.

— Так позвольте мне передать ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваше извинение, — сказал Несвицкий (так же как и другие участники дела и как и все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли). — Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить...

— Нет, об чем же говорить! — сказал Пьер, — все равно... Так готово? — прибавил он. — Вы мне скажите только, как куда ходить, и стрелять куда? — сказал он, неестественно-кротко улыбаясь. — Он взял в руки пистолет, стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаваться. — Ах да, вот так, я знаю, я забыл только, — говорил он.

— Никаких извинений, ничего решительно, — говорил Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения, и тоже подошел к назначенному месту.

Место для поединка было выбрано шагах в 80 от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаявшим от стоявших последние дни оттепелей снегом. Противники стояли шагах в 40 друг от друга, у краев поляны. Секунданты, измеряя шаги, проложили, отпечатавшиеся по мокрому, глубокому снегу, следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в 10 шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались; за 40 шагов ничего не было видно. Минуты в три все было уже готово, и все-таки медлили начинать, все молчали.

ИОНЫЧ

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в пенсне, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С. тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных, Старцев отправил-

ся в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и все время напевал:

Когда еще не пил я слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной.

— Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, цыпка, баловница... — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кстати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

<...> Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера, мало-помалу, сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте, пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: “Мороз крепчал...” О окна были отворены настежь,

слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, — читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать...

— Недурственно... — тихо проговорил Иван Петрович. А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали “Лучинушку”, которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет, — отвечала она, — я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она. — Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, — сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью,

длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, — было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. — Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. — Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны. — В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна. — Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду, — сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризная, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном

языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович. Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

“Занятно”, — подумал Старцев, выходя на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый, и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

“Недурственно...” — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебивали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она

всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдите в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевающая и не понимающая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле, — говорил он, идя за ней, — потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю, — продолжал Старцев, — а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищалась его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все девушки, много читала (вообще

же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. — Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— “Тысяча душ”, — ответила Котик. — А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. — Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.

“Сегодня, в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле памятника Деметти”.

“Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище? Для чего?”.

ПАЛАТА № 6

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдите по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый, запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что больных надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь, вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, — ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сор и занозист. Воняет кислую капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя

по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, напевствует, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Моисейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Моисейка любит услуживать. Он подает товарищам еду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика.

Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский

секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Grimасы его странны и болезненны, по тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нём сумасшедшего человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем

будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попсури из старых, но еще не допетых песен.

II

Лет двенадцать-пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят-семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он сполгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни

с кем близко не сходиллся и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь, или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря. Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; а по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам

пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец, судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, да которые судье платят жалованье, а затем — все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке,

за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них ость доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода.

Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то значит, его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного — была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынный хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич в конце концов, видя, что

это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и незащищенных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь

вперед, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходиться с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Моисейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, — к этому можно привыкнуть, — а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка. Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, загнув голову; если в это время подойти к нему, то он конфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно.

— Поздравьте меня, — говорит он часто Ивану Дмитричу, — я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение, — улыбается он, в недоумении пожимая плечами. — Вот уж, признаться, не ожидал!

— Я в этом ничего не понимаю, — угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. — Я непременно получу шведскую “Полярную звезду”. Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах. Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем. Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту. Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

Страшный слух! Доктор Андрей Ефимыч Рагин — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъезжего, невоздержанного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: “Виноват!”. У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такую же поношенную и помятую, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, “богоугодное заведение” находилось в

ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожжа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице: не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое: надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ноче-

вать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать “дай” или “принеси” ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: “Как бы мне чаю...” или: “Как бы мне пообедать”. Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность, — для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня прирешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцати тысяч человек. Клясть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если

же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек

с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с каминой и кадит в них ладаном. Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

— Болеем и нужду терпим оттого, — говорит он, — что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много

и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только “Врача”, которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по несколько часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время... — отвечает он. — Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: “Замолчать!”, так что

за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу. — Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад, — отвечает ему доктор, — и всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч. Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверьяныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор.

— Как жаль, — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), — как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать, — продолжает доктор тихо и с расстановкой, — что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, — значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволи-

те сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч. — Захотели от нынешних ума! И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги займы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка... — вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы! Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, — говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. — Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепо-

сти; он стучится — ему не открывают; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами. Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: “Совершенно верно”.

— А вы не верите в бессмертие души? — вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом: — Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. “О, зачем человек не бессмертен? — думает он. — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг

солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словцо в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодной дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и что Моисейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние двадцать пять лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии

и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже *in spe* (в будущем (лат.)). Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гигиена со статистикою, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячих рубаш; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватили в клочья эту маленькую Бастилию.

“Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза. — Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиником и моею больницей, в сущности, нет никакой”. Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает: “Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла:

все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим". Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати, — высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга — "Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.". Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник потреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Моисейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках с держал небольшой мешочек с милостыней.

— Дай копеечку, — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

— Как это нехорошо, — подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками. — Ведь мокро.

И побуждаемый чувством, похожим на жалость и на безразличность, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита, — сказал мягко Андрей Ефимыч. — Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил. Дверь из сеней в палату была открыта. Иван Дмитрич лежал на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным злым лицом, с глазами навывкате, выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал. — Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. — Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышащий это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрия, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. — За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. — Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь, — сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь. — Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты? — А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю... — глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Моисейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня, — сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда... — проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. — Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите, — сказал он, щуря глаза. — Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и на нашей улице будет праздник! Я не дожусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. — Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и

умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано, — проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. — Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замурованному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван, — угрюмо проговорил Иван Дмитрич. — Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил. — Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и оказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну что там нового? — спросил Иван Дмитрич. — Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, некультурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, — значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич. И засмеялся. — А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель, спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич. — Оставьте меня.

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелым запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

“Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. — За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно”.

Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг, — сказал Андрей Ефимыч. — Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг, — проговорил Иван Дмитрич в подушку, — а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно... — пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. — Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями...

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны. — Можете идти шпионить и пытаться в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия! — усмехнулся доктор. — Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание, — это все равно.

— Ах, какой вы, право, извините... чудак! Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы, — сказал он. — Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера — время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить, на дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, — сказал доктор. — Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, — сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спресонок, — потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этой палатой нет никакой разницы, — сказал Андрей Ефимыч. — Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий от самого себя.

— Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий оказал: "Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет". Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, в нем — истинное благо.

— Уразумение... — поморщился Иван Дмитрич. — Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, — сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, — я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до такого состояния, — и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, — или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ, — продолжал Иван Дмитрич, с раздражением, — и ничего я в этом не понимаю. И не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стойки, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводило свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода,

обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стойков никогда не может иметь будущности, прогрессируют же, как видите, от начала века, и сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился, — сказал он. — О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стойков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стойк реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, — сказал он. — Положим, нужно презирать страдания, ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и желтою шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной

квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо — все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать, и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу.

А что такое это фантастическое “истинное благо”? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! — опять рассердился Иван Дмитрич. — Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору, — сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, — ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально, — сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки. — Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставляла его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставлял его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

— Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся, — говорил Иван Дмитрич с раздражением. — С действительностью вы совершенно не знакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пьявица, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращаться вас в свою веру, — проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять. — И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрефил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. — Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

ХII

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные

при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: “Совершенно верно”, а в непонятном смущении бормотал: “Да, да, да...” — и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы. Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилиею, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьице по вашей части-с, — обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. — Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно; это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонта захочет.

— Да, без ремонта не обойтись, — сказал Андрей Ефимыч, подумав. — Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад, — продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом, — что

эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовых больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки! — живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет, — засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится, — согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько

дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек.

Больше ему не задавали никаких вопросов. Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

— Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жалеть медицину.

“Боже мой, — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его, — ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен, — откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!”

И первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой! — и, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: — Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, по это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым, — оказал Андрей Ефимыч, подумав. — Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет, — такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы, собственно, куда намерены ехать? — спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

ХІІІ

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: “Замолчать! не рассуждать!”. А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахнешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя

здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

“Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой. — Я ли, который стараюсь ничем не беспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?”.

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погон и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтоб ему служивали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички: при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье: лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил “ты” и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской часовне. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели гам на Царь-пушку и Царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

XIV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя к доставлять ему возможно больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

“А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, — думал доктор с досадой. — Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди”.

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он

досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее: настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

“Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич, — думал он, сердясь на свою мелочность. — Впрочем, вздор... Приеду домой, и все пойдет по-старому...”.

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду? — говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом. — Поезжайте один, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом! — протестовал Михаил Аверьяныч. — Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришлось в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой, — обратился он к доктору, — презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и

гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч переедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со зрителем и тот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой, — сказал ему робко почтмейстер, — извините за нескромный вопрос: какими средствами, вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал: — Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю, — проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. — Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей. Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал

доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетки, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:

— К черту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до ве-

черного чая лежал на диване лицом к стенке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил не честно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово “коллега”, и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязанностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он вообразил земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: “А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно”.

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

— А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьяныч, — у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. — Небось вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч. — Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватит, — утешал Хоботов. — Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя! — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. — Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. — Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом. — Женим вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось сердце.

— Это пошло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. — Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня! — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. — Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч. — Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к черту! — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. — К черту!

По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа, как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло, — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. — Поддай стул. А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. — Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое, — продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу. — Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность, — зашептал Михаил Аверьяныч, — вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайте нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович хотя и моветон (человек дурного тона (франц. — *mauvais ton*), между нами говоря, но сведущий; на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте! — зашептал он, прикладывая руку к сердцу. — Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне все равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей гибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить, — сказал Андрей Ефимыч с раздражением. — Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, — сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату. — Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

— Пожалуйста одеваться, ваше высокоблагородие, — сказал он тихо. — Вот ваша постелька, пожалуйста сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. — Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень короткие, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровеете, бог даст, — повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

“Все равно... — думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. — Все равно... Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат...”

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой

№ 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение... — проговорил он, разводя руками в недоумении. — Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сильным спросонок голосом, зажмурив один глаз. — Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение, — проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: — Недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь! — проворчал он. — И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Моисейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку! — сказал он.

XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженьях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма.

“Вот она действительность!” — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади слышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгниет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддавалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой, — пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. — Пал духом.

— А вы пофилософствуйте, — сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда, — сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. — Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узкость, пошлость! О боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... про-страция... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой, — сказал он. — Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он. — Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. — Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом. — Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — сказал настоятельно Никита.

— Это черт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. — Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. — Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. — Отвори, а то я дверь выломаю! Живо дер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом. — Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверь Никита. — Поговори!

— По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич. — Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сильным голосом и навалился на дверь. — Я размозжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и покатила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел, крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом

Хоботова, зрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

ХІХ

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

“Мне все равно, — думал он, когда ему задавали вопросы. — Отвечать не стану... Мне все равно”.

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Поледелено в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сер-

гей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

Иван Алексеевич Бунин

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

На кладбище над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мецкерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, — изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля

Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство.

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, молодая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом.

— Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, — сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. — Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

— Я слушаю, madame, — ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

— Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, — сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. —

Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, — сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

— Вы уже не девочка, — многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

— Да, madame, — просто, почти весело ответила Мещерская.

— Но и не женщина, — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. — Прежде всего, — что это за прическа? Это женская прическа!

— Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, — ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

— Ах, вот как, вы не виноваты! — сказала начальница. — Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:

— Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер за-

явил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

— Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, — сказал офицер. — Дневник этот — вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года.

В дневнике было написано следующее:

“Сейчас второй час ночи... Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула, у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет — мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, — пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности,

потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!..”.

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано “Успение Божией Матери”. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта — классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, — она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представля-

лась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она — идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов — и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

— Я в одной папиной книге, — у него много старинных, смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько на сказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, — ей Богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, — понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

Валерий Яковлевич Брюсов

* * *

Мучительный дар даровали мне боги,
Поставив меня на таинственной грани.
И вот я блуждаю в безумной тревоге,
И вот я томлюсь от больших ожиданий.

Нездешнего мира мне слышатся звуки,
Шаги эвменид и пророчества ламий...
Но тщетно с мольбой простираю я руки,
Невидимо стены стоят между нами.

Земля мне чужда, небеса недоступны,
Мечты навсегда, навсегда невозможны.
Мои упования пред миром преступны,
Мои вдохновенья пред небом ничтожны!

* * *

ЖЕНЩИНЕ

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено среди пыток.

Ты — женщина, и этим ты права,
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!

* * *

...И, покинув людей, я ушел в тишину,
Как мечта одинок, я мечтами живу,
Позабыв обаянья беспельных надежд,
Я смотрю на мерцанья сочувственных звезд.

Есть великое счастье — познав, утаить;
Одному любоваться на грезы свои;
Безответно твердить откровений слова
И в пустыне следить, как восходит звезда.

ЮНОМУ ПОЭТУ

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.
Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.

* * *

Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века,
Родину я ненавижу, —
Я люблю идеал человека.

И в пространстве звенящие строки
Уплывают вдаль к былому;
Эти строки от жизни далеки,
Этих грез не поверю другому.

Но, когда настанут мгновенья,
Придут существа иные.
И для них мои откровенья
Прозвучат как песни родные.

Константин Дмитриевич Бальмонт

АНГЕЛЫ ОПАЛЬНЫЕ

Ангелы опальные,
Светлые, печальные,
Блески погребальные

Тающих свечей, —
Грустные, безбольные
Звоны колокольные,
Отзвуки невольные,
Отсветы лучей, —
Взоры полусонные,
Нежные, влюбленные,
Дымкой окаймленные
Тонкие черты, —
То мои несмелые,
То воздушно-белые,
Сладко-онемелые,
Легкие цветы.
Чувственно-неясные,
Девственно-прекрасные,
В страстности бесстрастные
Тайны и слова, —
Шорох приближения,
Радость отражения,
Нежный грех внушения,
Дышащий едва, —
Зыбкие и странные,
Вкрадчиво-туманные,
В смелости неожиданные
Проблески огня, —
То мечты, что встретятся
С теми, кем отметятся,
И опять засветятся
Эхом для меня!

АРОМАТ СОЛНЦА

Запах солнца? Что за вздор!
Нет, не вздор.
В солнце звуки и мечты,
Ароматы и цветы
Все слились в согласный хор,
Все сплелись в один узор.

Солнце пахнет травами,
Свежими купавами,
Пробужденною весной,
И смолистою сосной.

Нежно-светлоткаными,
Ландышами пьяными,
Что победно расцвели
В остром запахе земли.

Солнце светит звонами,
Листьями зелеными,
Дышит вешним пеньем птиц,
Дышит смехом юных лиц.

Так и молви всем слепцам:
Будет вам!
Не узреть вам райских врат,
Есть у солнца аромат,
Сладко внятный только нам,
Зримый птицам и цветам!

БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ

Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора, —
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далеко-далеко.
Во всем утомленье — глухое, немое.

Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада, —

Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце просила, но сердце заняло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

БОГ И ДЬЯВОЛ

Я люблю тебя, Дьявол, я люблю Тебя, Бог,
Одному — мои стоны, и другому — мой вздох,
Одному — мои крики, а другому — мечты,
Но вы оба велики, вы восторг Красоты.

Я как туча блуждаю, много красок вокруг,
То на север иду я, то откинусь на юг,
То далеко, с востока, поплыву на закат,
И пылают рубины, и чернеет агат.

О, как радостно жить мне, я лелею поля,
Под дождем моим свежим зеленеет земля,
И змеиностью молний и раскатом громов
Много снов я разрушил, много сжег я домов.

В доме тесно и душно, и минутны все сны,
Но свободно-воздушна эта ширь вышины,
После долгих мучений как пленителен вздох.
О, таинственный Дьявол, о, единственный Бог!

ЖАР-ПТИЦА

То, что люди называли по наивности любовью,
То, чего они искали, мир не раз окрасив кровью,
Эту чудную Жар-Птицу я в руках своих держу,
Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу.

Что другие, что мне люди! Пусть они идут по краю,
Я за край взглянуть умею и свою бездонность знаю.
То, что в пропастях и безднах, мне известно навсегда,
Мне смеется там блаженство, где другим грозит беда.

День мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская,
Мысль моя дрожит безбрежно, в запредельность
убегая.

И меня поймут лишь души, что похожи на меня,
Люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня!

* * *

Мы блаженные сонмы свободно кочующих Скифов,
Только воля одна нам превыше всего дорога.
Бросив замок Ольвийский с его изваяньями грифов,
От врага укрываясь, мы всюду настигнем врага.

Нет ни капищ у нас, ни богов, только зыбкие тучи
От востока на запад молитвенным светят лучом.
Только богу войны темный хворост слагаем мы в кучи,
И вершину тех куч украшаем железным мечом.

Саранчой мы летим, саранчой на чужое нагрянем,
И бесстрашно насытим мы алчные души свои.
И всегда на врага тетиву без ошибки натянем,
Напитавши стрелу смертоносною желчью змеи.

Налетим, прошумим, и врага повлечем на аркане,
Без оглядки стремимся к другой непочатой стране.
Наше счастье — война, наша верная сила — в колчане.
Наша гордость — в не знающем отдыха быстром коне.

Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ...

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть море
И пышный цвет долин.

Я заключил миры в едином взоре.

Я властелин.

Я победил холодное забвенье,
Создав мечту мою.

Я каждый миг исполнен откровенья,
Всегда пою.
Мою мечту страданья пробудили,
Но я любим за то.
Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто, никто.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!

* * *

Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.

Весною светлой, как вестник мая,
Целую ландыш, в мечту влюбленный,
И внемлет ветру лазурь немая,
Я вею, млею, воздушный, сонный.

В любви неверный, расту циклоном,
Взметаю тучи, взрываю море,
Промчусь в равнинах протяжным стоном -
И гром проснется в немом просторе.

Но, снова легкий, всегда счастливый,
Нежней, чем фея ласкает фею,
Я льну к деревьям, дышу над нивой
И, вечно вольный, забвеньем вею.

* * *

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали...
И какие-то звуки вокруг раздавались,

Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.
Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор...
И сиянием прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.
А внизу подо мною уж ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей Земли,
Для меня же блистало дневное светило,
Огневое светило догорало вдали.
Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

Александр Александрович Блок

* * *

О, я хочу безумно жить,
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

* * *

И вновь — порывы юных лет,
И взрывы сил, и крайность мнений...
Но счастья не было — и нет.
Хоть в этом больше нет сомнений!

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.

Но если выйдешь цел — тогда
Ты, наконец, поверишь чуду,

И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не надо было,
Что сей несбыточной мечты
И на полжизни не хватило,

Что через край перелилась
Восторга творческого чаша,
Что все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь, —

И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать
О детской той мечте, о зыбкой,
Что счастьем привыкли звать!

* * *

Мы встречались с тобой на закате.
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи.
Впереди — на песчаной косе
Загорались вечерние свечи.
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, сгораний —
Не приемлет лазурная тишь...
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Все померкло, прошло, отошло..
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло.

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

РОССИЯ

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, -
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, -
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одно заботой боле —
Одной слезой река шумней
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

* * *

З. Н. Гиппиус

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забуть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие твое!

* * *

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд. —
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.

А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.

* * *

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

РУСЬ

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почишь, Русь.

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.

Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга
До крыши — утлое жильё,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвее.

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...

Так — я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную
Я до погоста протоптал,
И там, на кладбище ночуя,
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах, ты,
И вот — она не запятнала
Первоначальной чистоты.

Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне почивает Русь,
Она и в снах необычайна.
Ее одежды не коснусь.

* * *

О, весна! без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя!

* * *

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастья твердишь, — который раз?

Что счастье? Вечерние прохлады
В темнеющем саду, в лесной глуши?
Иль мрачные, порочные улады
Вина, страстей, погибели души?

Что счастье? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот...
Очнешься — вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет...

Вздохнул, глядишь — опасность миновала...
Но в этот самый миг — опять толчок!
Запущенный куда-то, как попало,
Летит, жужжит, торопится волчок!

И уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон, —
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен...
Когда ж конец? Назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать...
Как страшно все! Как дико! — Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.

* * *

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,

Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутятся проклятым роем,
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла;
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

Анна Андреевна Ахматова

* * *

Муза-сестра заглянула в лицо,
Взгляд ее ясен и ярок.
И отняла золотое кольцо,
Первый весенний подарок.

Муза! ты видишь, как счастливы все —
Девушки, женщины, вдовы...

Лучше погибну на колесе,
Только не эти оковы.

Знаю: гадая, и мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:
“Взор твой не ясен, не ярок...”
Тихо отвечу: “Она отняла
Божий подарок”.

* * *

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.
В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?

* * *

Приходи на меня посмотреть.
Приходи. Я живая. Мне больно.
Этих рук никому не согреть,
Эти губы сказали: "Довольно!"

Каждый вечер подносят к окну
Мое кресло. Я вижу дороги.
О, тебя ли, тебя ль упрекну
За последнюю горечь тревоги!

Не боюсь на земле ничего,
В задыханьях тяжелых бледнея.
Только ночи страшны оттого,
Что глаза твои вижу во сне я.

* * *

Слаб голос мой, но воля не слабеет,
Мне даже легче стало без любви.
Высоко небо, горный ветер веет
И непорочны помыслы мои.

Ушла к другим бессонница-сиделка,
Я не томлюсь над серою золой,
И башенных часов кривая стрелка
Смертельной мне не кажется стрелой.

Как прошлое над сердцем власть теряет!
Освобожденье близко. Все прощу.
Следя, как луч взбегает и сбегает
По влажному весеннему плещу.

* * *

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

* * *

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану — Христос, помоги!—
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

* * *

Александрю Блоку

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

СОДЕРЖАНИЕ

А. С. Пушкин	3
М. Ю. Лермонтов	21
Н. В. Гоголь	35
А. Н. Островский	47
Н. А. Некрасов	67
Ф. И. Тютчев	85
А. А. Фет	91
И. С. Тургенев	95
Н. С. Лесков	113
М. Е. Салтыков-Щедрин	128
Ф. М. Достоевский	143
Л. Н. Толстой	160
А. П. Чехов	184
И. А. Бунин	245
В. Я. Брюсов	250
К. Д. Бальмонт	252
А. А. Блок	258
А. А. Ахматова	266

Учебно-методическое издание

Составители:

**Бейбытова Кульнаш Даирбаевна
Мацакова Татьяна Петровна**

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия

**Пробное учебное пособие для 11 классов
общественно-гуманитарного направления 12-летних школ**

**Редактор *Т. Дадонова*
Худож. редактор *А. Акыл*
Техн. редактор *И. Тарапунец*
Компьютерная верстка *Ч. Рузиевой***

**Государственная лицензия № 0000001 выдана издательству
Министерством образования и науки Республики Казахстан
7 июля 2003 года**

ИБ № 3779

**Подписано в печать 09.09.13. Формат 84 x 108¹/₃₂.
Бумага офсетная. Гарнитура “ММ Мектептік”. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14, 0. Уч.-изд. л. 14,15.
Тираж 300 экз. Заказ № 107.**

**Издательство “Мектеп”, 050009, Алматы, пр. Абая, 143
Факс: 8(727) 394-37-58, 394-42-30.
Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34.
E-mail: mektep@mail.ru
Web-site: www.mektep.kz**

**Отпечатано в типографии ТОО “Дайыр Баспа”.
пр.Райымбека, 123/131.
E-mail: dair_baspa@mail.ru**

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

МЕКТЕП